

ИВАН НОВИКОВ

Д У Ш К А

ПОВЕСТЬ

II-ОЕ ИЗДАНИЕ

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО ПИСАТЕЛЕЙ
В БЕРЛИНЕ
1923.



*Книга отпечатана
в тысяча девятьсот
двадцать третьем
году в типографии
Шнеер и Шмидт
в Берлине, Риттер-
штрассе 22.*

ОБЛОЖКА РАБОТЫ
Л. ГОЛУБЕВА - БАГРЯНОРОДНОГО.

Д

У

Ш

К

А

I

Шумно и звонко перелетали птицы над далекою рощей; вечерний воздух был полон их остро-го, почти колкого крика. Медленно упавшее солнце горячими пятнами ложилось на тронутую уже кое где золотом листву берез и осин. Над полями покоилась вечерняя тишина, и паутина, густо заткавшая высокое жнивье, тепло золотилась и двигалась сбоку тарантаса, как на зыбкой глади морского залива отражение дальнего света, но и здесь покалывали, шевелясь, ее отдельные острые лучики. Это сочетание мира и мягкости отгоревшего, усопшего лета с посверкиванием будущих морозных игл говорило о наступлении дней, когда душа человека сознает себя одиноче, но и собирается вся, мысли становятся резче и тоньше, точнее; близилась полная осень.

Тарантас, погромыхивая и подскакивая по выбитой после возки хлебов, все забиравшей влево да влево дороге, дребезжа ненадежными шинами, не слишком стремительно приближал Васю Лоп-

тина к цели его путешествия. Провалившись на конкурсе в горном институте и проболтавшись недели две в Петербурге без дела, он ехал теперь двоюродному дяде на отдых. А отдохнуть было отчего: лето пропало в бессмысленной, как оказалось, зубрежке, потом неприятность экзаменов и, может быть главное, эти две недели после провала, проведенные нехорошо. Вспоминая теперь о своих вечерних блужданиях по туманным улицам Петербурга с нездоровыми огнями дешевых кинематографов, Вася только шумно вздыхал и стыдливо убирал голову в плечи, морща по привычке левую бровь.

Дядю он совершенно не знал и ехал так себе, на авось: пожить сколько придется; теперь спешить было некуда.

Но возница слишком уже не торопился: восемнадцать верст ехали без малого три часа. Уже на пятой версте все несложные разговоры, какие мог Вася придумать, были исчерпаны, и теперь путь совершался в молчании; кажется, это, однако, обоим их не тяготило. Вася узнал, что дядя Кирилла Матвеич живет один с двенадцатилетней дочкою Танечкой, всем домашним хозяйством правит дальняя родственница Любовь Петровна, но никто, кроме ближайших соседей, в дом не заглядывает, да и сами они никуда. «Ну и ничего, тем, может быть, лучше» — подумал Вася. Он при этом немного кривил душой; смутно ему представлялось в деревне: огромный дом, камин, библиотека и чей-то легкий бег через залу; цветы на столе, и в сумеречный час негромкий говор рояля, а

не то и нечаянный смех, или игра в прятки, беготня, оживление. . — Бог знает что, все то, что смутно мы, русские, носим в душе, стихию, в которой родимся. Минутами Вася Лопатин забывал и Петербург, и свою бровь; он открывал глаза со всею наинностию девятнадцатилетнего юноши, на которого никто не глядит, и неловко возился по шитой когда то цветными шерстями, сильно протертой подушке. Он был крупен фигурой, высок и походил всею повадкой на породистого щенка, которому и на просторе все тесно от своей собственной толщины. Да, конечно, робко мерещилась ему и любовь, и так отдался бы ей со всей чистотою и сдержанным целомудрием вот этой вечерней, целительной тишины.

Но он вспоминал постыдные свои петербургские дни — провал и нечто другое, еще более горькое и стыдное, и опять жевал губами, поправляя очки и доставал, вздыхая, папироску. От портсигара пахло духами, кожа хранила их вот уже пятнадцатый месяц. Правда, что с этим, в сущности, все было покончено, духи оказались живучее, но Вася привык сохранять эти свои романтические воспоминания. И опять была горечь, острая иголочка в сердце: потеря чего-то уже в себе самом...

Дорога вступала, меж тем, в пронизанный солнцем, слегка шевелящийся лес, лица коснулась прохлада. Кучер, подтянувшись, погнал лошадей и колеса зашумели отдохновенно по жидкой еще, первой опавшей листве. Вася снял фуражку и провел рукою по волосам. «Да, ну и что же»... — неопределенно подумал он, ощущая снова странное

облегчение. И так приподнялся, все без фуражки, навстречу вдруг показавшейся через немного минут за поляной реке, узенькой колокольне за нею, саду на той стороне дома. Да и разве... потеряно все? Разве не с ним еще вся его, едва открытая жизнь, и это красное солнце, и птицы над рощей, и крутой впереди, заселенный берег реки? Что-то сокрыто там для него — до времени.

— А вот и Никольское, — сказал Никанор, обернувшись и махнув кнутовищем. — И барин Кирилл Матвееч на балконе в халате сидят.

Кириллы Матвееча, по правде сказать, еще вовсе не было видно, но, прежде чем сесть, невольно раскинул Вася руками, как бы в смутном кому то об'ятии, и улыбнулся такою широкой и от души идущей улыбкой, что заморщили на висках вдоль очков мелкие складочки кожи.

Лошади бойко, с задором, какого и ждать от них было нельзя, четко пересчитали бревна моста и вынесли тарантас к самому дому.

II

Дом был серый и старый, с кое-где облезшею краской. Особенно сильно облупились, колонны, и голуби целыми выводками возились, прихорашиваясь и томно воркуя, по карнизу. Балкона, собственно, не было, был небольшой крытый навес, позднейшей надстройки, в правом, несимметрично выступавшем углу. И дядя Кирилла Матвееч, в странном костюме, похожем на подрясник, подпоясанный широким домашним поясом из шерсти зеленого цвета, вовсе не сидел. Круто наклонившись, усердно возился он возле обширного, ярко блестящего чана. На звук под'ехавшего тарантаса даже не обернулся, и только когда Вася взбежал по ступенькам, оторвался, наконец, Кирилла Матвееч от поглотившей его всецело работы и принял Васю в об'ятия.

— А, ты... Ну, я очень рад, добро пожаловать! Проходи, голубчик, туда, я сейчас, все спешил до тебя, да не успел.

И он опять принялся за прерванный труд.

Вася глядел с изумлением. На полу и на лавках стояли огромные блюда с круглыми катышками желтого свежего воска. На одном, ближайшем громоздились еще свежее вырезанные, благоухающие соты. Кирилла Матвеич брал их руками и из под пальцев его, крепко врезавшихся в воск, лились над чаном тяжелые струи. Солнце, густое и красное, разливалось по самой земле и золотило седеющий клочок над дядиным лбом. Важно надувшись, в красных серьгах, стоял индюк по середине двора и аккуратные куры неторопливо рылись в куче песку. От реки и от сада за домом тянуло вечернею свежестью, и опять вдалеке был слышен крик еще не улегшихся на покой, громоздящихся птичьих стай. Со стороны конюшни и рабочей избы доносился спокойный, размеренный говор рабочих. Но звуки эти только еще острее давали почувствовать прозрачную и глубокую тишину, разлитую окрест.

Вася поправил очки и опять улыбнулся, но уже привычной, короткой и доброй улыбкой. Дядя, казалось, совсем забыл о нем, весь поглощенный своим первобытным занятием. Мальчик вступил в дом и, не раздеваясь в передней, прошел прямо в залу, за нею в столовую. На столе кипел самовар и выступали на складках рубчики скатерти, только что вынутой из комода, чайник был сверху накрыт вязаным теплым чехлом с вышитой крупной фигурой синего петуха, высоко задравшего голову. Вместо стульев к столу близко придвинуты лавки, и на минуту пахло запахом клея и дерева. Никого в комнатах не было. Было так тихо, что

звуки от Васиных шагов долго еще отзывались, медленно замирая в дальних углах обширного дома. Яркие красные пятна заходящего солнца рдели и здесь на пунсовых штофных обоях, кое-где разлезавшихся за давностью лет, одно из них било в старое зеркало и рубином сверкал захваченный им уголок старинной резьбы в раме красного дерева. Нечаянно Вася тронул себя и вслух разсмееялся: оба борта пальто и рукава, после дядюшкиных медовых об'ятий, были липкие. Вася лизнул языком, чтобы совсем убедиться: да, они были и сладкие.

Из столовой вела дверь на террасу, уже настоящую, просторную; груши росли возле самого дома. Вася выглянул осторожно туда и увидел сидевшую спиной к нему девочку. Она держала в руках кусок черного хлеба и ела. На ломте, искрясь, лежал великолепный, мягко спадающий по краям сот свежего меда. По теплomu дереву била девочка туфелькой, надетой на босую ногу, будто в такт своим мыслям, и было заметно, как уши ее и часть залитой солнцем щеки при еде шевелились. Она немного откидывала голову и широко разевала рот, чтобы захватить сразу побольше кусок, и Вася ясно видел потом отпечатки ровных зубов ее на воске и хлебе. Он пожевал невольно своими пыльными губами и издал звук, должно быть крякнул. Девочка оглянулась и схватилась бежать. От резкого движения мед упал, и она остановилась в нерешительности.

— Танечка, это ты? — догадался Вася. — Чего же ты боишься? Я Вася. Ты не слыхала обо мне?

Девочка покачала головой.

— Твой брат; а твой папа мне дядя.

— А ты не врешь? — спросила Танечка.

— Ну, конечно, нет.

Тогда она подошла к упавшему соту, осторожно подобрала его и, заодно уже, вернулась доедать на старое место. Вася присел рядом с ней.

— Может быть, хочешь и ты?

— Дай.

Она отломила ему половинку, и они совсем разговорились. Вася глядел на нее с непонятною радостью. Сначала Танечка показалась ему дикаркой и робкой, но она была бедовая. Через пять минут она уже потащила Васю глядеть «местечки». Это был, очевидно, ею самой изобретенный термин. Местечек было множество — до дюжины, все они помещались на толстых, в два-три обхвата, стволах полуистлевших раkit, густо заросших молодыми побегами. В иные и влезть было мудрено, но девочка проделывала это артистически. Она протягивала Васе руку и, смеясь, тащила его прямоком через трещащую сушь. Внутри местечек было очень уютно: в одном спрятаны свежие желтенкие орехи, разложенные как птичьи яйца по гнездышкам, в другом казна: разноцветные пачки бумажек от дешевеньких конфет; всюду были натканы осенние полуувядшие цветы и огромные стебли запри и чертополоха.

Так они обежали почти вдоль всей ограды обширного, густо поросшего всякого всячиной сада, и Вася забыл и про усталость, и про чай, ждущий в столовой под колпаком с изображением орущего синего петуха. Пальто его было измазано пристав-

шею к меду пылью и мусором, мелкими сучками березы. Но он не видал этого. Он глядел на раскрасневшееся личико нечаянной сестры своей, на ее быстрые на босую ногу туфельки, которыми она так легко перебирала по короткой осенней траве, на болтавшиеся позади спины две тощих рыжеватых косички. «Вот и у меня... сестра» — думал он с легким недоумением и нечаянно хорошей, облегчавшей радостью.

— Постой! — вдруг сказала Танечка, прислушиваясь. — Это Люба зовет нас. Чай пить. — И побежала было, но остановилась. — Ну-ка, — мотнула она головой. — Люба их любит: карякинские.

— Кто? — переспросил Вася.

— Люба белая голуба — ответила девочка скороговоркой и засмеялась.

Вася подошел, исполняя приказ, к шершавому стволу старой груши и несколько раз сильно потряхнул. С верхушки упало с десятков груш — оранжево желтых, на тонких, перегруженных сладкою тяжестью веточках. Иные из них при падении надломились и явственно послышался их свежий и пересыщенный аромат. Вечер в саду был так медово тепел и тих, что пока Вася стоял, прислоняясь спиной к корявому, с севера тронутому лишайниками и мохом стволу грушевого дерева, и глядел, как Танечка с милым оживлением клала в подол платья, плоды, над загорелыми и зацарапанными ножками слегка его приподняв, ему смутно казалось, что ничего этого «по правде» нет, а ему или снится, или это он смотрит картинку из книжки, виденной в детстве.

Дядя их ждал на террасе, с ним рядом стояла и Любовь Петровна.

— Хорошо мы тебя встретили, а? — улыбаясь, сказал Кирилла Матвееч. — С дороги то. Небось, без чайку заторопился, клянeshь нас!

— Отлично, дядя! — воскликнул Вася с одушевлением.

— Постой, постой, где это ты так выгмаздался? Ну, умыться теперь, чайку. Любовь Петровна там тебе ватрушки пекла, горяченькие.

Вася расцеловался еще раз с дядей и обнял Любовь Петровну; от нее пахло сдобным.

— А с вострушкой-то нашей, поцеловались хоть?

— Нет еще, папочка, я сейчас! — звонко вскрикнула девочка. — Люба, тебе! — И, высыпав груши с такою стремительностью, что Любовь Петровна едва успела подставить навстречу им полосатый свой фартук, цепко обвила Танечка Васину шею прохладными своими руками и крепко, несколько раз его поцеловала.

— Он у нас будет жить. Совсем! — заявила она, и первая побежала в столовую.

Но и там, за взрослыми разговорами, не усидела Танечка долго.

— Кыс-кыс! — дразнила она самовар, — попой еще! — Но самовар петь не хотел, и не дымились больше, сквозь прищуренные ресницы зыбкою радугой не отливали уже нависавшие у неплотно привернутого крана редкие капли; другие звуки донеслись издалека, веселые и молодые.

— На беганских! Хочешь? — вскочила девочка

и потянула за рукав и Васю; он побежал за ней с веселою развесью.

На террасе в углу отыскиали фонарик, зажгли, и через минуту в толпе дворовых мальчишек, на гигантских шагах взлетала уже легкая Танечка едва касаясь земли, подобная светящейся бабочке в темноте; свободной рукой с фонарем чертила она круги и зигзаги, вскрикивала, ухала, и косички ее, откинутае, то исчезали в тени, то гнались опять за ее быстрой головкой двумя горячими змейками.

III

В институте, от которого Танечка, за лето поодичав, уже сильно отвыкла, не был закончен ремонт, но все же теперь оставались последние ей на воле деньки. Для Васи, почти неразлучного с нею, началось с этого первого вечера чудесное время, отдохновенное, полное воздуха и беспричинного смеха. И как хорошо: даже никто не спросил ни об экзаменах, ни о провале; и ни о чем другом, отчего нельзя не покраснеть, можно было теперь все не вспоминать. Привычки морщить свою левую бровь как не бывало, а если порою и втягивал все-таки голову в плечи, то происходило это теперь не от каких-либо неприятных воспоминаний, а разве лишь от стыдливой радости бытия, переполнявшей все его молодое, громоздкое тело. Все, чем жил в последнее время Вася Лопатин до приезда в Никольское, быстро и крепко забылось, а место мудреных приборов, замысловатых значков и формул с кудрявыми их завитушками, которые так ему не давались, заняли совсем другие, прос-

тые и милые вещи: зеленый и мокрый, именно осенью оживающий мох по мочежинкам в лесу; пышные шапки блекло коричневых опенок — целые города из грибов, при виде которых, забыв обо всем, летала Танечка, как стрела, визжа на весь лес и мелькая все еще голыми, янтарно загорелыми ножками по желтой листве; осенние, с капелькой крови сережки на узловатых бородавчатых кустах бересклета, прочно засевшего по канавам вокруг всего сада; ожерелья рябины, пламенеющие на закатах, как фантастические георгины, клены на поляне в саду; в кучах листвы барахтанье с Танечкой; лазанье по кустам за орехами, которых девочка много, к удивлению Васи, знала разных сортов, — вся несложная цепь нехитрых деревенских очарований.

По началу Вася стыдился еще своего аппетита, но в деревне любили поесть, и он не стал отставать от других. Изобретательность Любви Петровны по этой части была неистощимою. Вася успел полюбить и старушку. Особенно мило было глядеть каждый раз, когда Танечку, уставшую за день беготни, относили вечером спать. Все не хотя уходить, но уже сладко позевывая, задремывала она у стола и, по мере того, как сон одолевал ее, никла все ближе к отцу или к приезжему братцу вся горячим своим, ослабевающим тельцем, губы приоткрывались, и уже легкий аромат сна начинал исходить от нее. Перейдя на руки старушки и глядя уже только, чтобы попасть куда следует, коротенькими поцелуями толкалась Танечка в лицо оставшимися, потом широко отводила руками и крепко

замыкала их у полной Любиной шеи, и вот совсем, наконец, опускала ресницы, чтобы открыть их только навстречу мигающим утренним зайчикам, и Вася слышал одно ее легонькое и непрестанное почмокивание уже куда пришлось — в щеку, нос или шею, пока Люба тащила ее на постельку.

— А ты здорова еще, мать, каждый вечер мешки таскаешь в амбар, — неизменно в одних выражениях шутил всякий раз Кирилла Матвееч.

В своем неизменном порядке в хозяйстве шли, между тем, и работы. С посевом, поздним в этом году, было покончено, и уже кое-где изжелта-зеленые иглы озимей бойко буравили черную землю. Убрали и сад, и теперь приходилось особенно радоваться всякому уцелевшему яблоку, до сердцевины холодному, с восковым, глянцевиным снаружи налетом. Стало просторней между деревьями и пышнее были внизу кучи листвы; случалось, за ночь осыпалось целое дерево, сразу озолотив широкий круг под собой. Еще сквозь сон, просыпаясь, слышал теперь Вася Лопатин каждое буднее утро шум молотьбы, пощелкивание кнута, длительно-удальское посвистывание на лошадей, ходивших по кругу, и особый характерный звук изрыгаемой барабаном соломы. Молотьба и была теперь главной работой; Кирилла Матвееч спешил, пока дни были длинны и стояла погода. Теперь появлялся он только к обеду, и усы его, по казацки глядевшие книзу, часто бывали такими забитыми и отягощенными пылью, что походили удивитель-

но на пару летучих мышей, подвешенных к носу; он долго каждый раз фыркал над умывальником, прежде чем выйти к столу.

Танечка завлекла в ригу и Васю, а дядя тотчас дал обоим занятие: в поденных всегда бывал недостаток. Танечка с маленькими своими граблями была на работе, будто, резвясь, купалась в пруду, а Вася по началу сильно робел под искоса внимательными взглядами девиц из Никольского, каждое их потаенное слово, конечно, было о нем, и было насмешливым. Но скоро и сами оне, приметивши, что молодой барчук не из бойких, повернули дело по своему, и Вася был этому рад.

Погода стояла на редкость, подувал ветерок с южных далеких морей, и солнце с прощальною, отходящей истомой плавилось на желтых спелых ометах. Быстро передвигались, как-то особенно ладно ступая по гладкому току, босые ноги девиц, и их яркие кофты, легко облежавшие плечи и грудь казались живыми и дышащими, давая при всяком движении новые очертания телу.

Вася, будучи еще гимназистом, увлекался в Москве одною молоденькой барышней, а она больше, чем им, модными танцами, в хитоне и босиком, и таскала Васю за собою повсюду. Но как бледнела вся эта грация выучки перед простой молотью деревенских девиц, где в каждом движении все было в полную меру во всей естественной правде и простоте! И, доставая свой портсигар в коротенькую минуту отдыха, он забывал теперь даже вздохнуть при все еще слышимом аромате духов.

Чаще всего ставили Васю на работу девическую

— принимать солому с решеток. Прерывистой пеленой скользила она по гладким решеткам от барабана и попадала на грабли, ее уже поджидавшие ручкой обернутой книзу. Одним коротким ударом, вместе со стоявшею в паре подростком Полюшкой, откидывали они сообща золотистый шелковый клочок дальше к воротам, а наберя кучку побольше, выталкивали наружу, где, другие уже, паковали солому веревкой, чтобы лошадей волочить на омет. Таскал Вася и колос на узко сдвинутых и отшлифованных, как слоновая кость, вертких носилках, и только раз, на второй или третий день, Кирилла Матвеич пустил племянника подавать в барабан — работа самая трудная и почетнее всех остальных.

Но как раз не обошлось без греха. Вместо того, чтобы ровной, по возможности непрерывною лентой подвигать по полку развязанный сноп, Вася, крутым горбом, увлекшись, пустил его целиком. Лошади на секунду приостановились и сразу рванули, барабан ухнул и с особенным металлическим свистом завертелся, жужжа, с жуткою легкостью. Было слышно, как лошади тронулись рысью.. Кто-то закричал на всю ригу: «Стой! Стой! Ремень!» — и закашлялся пылью. Все засуетились и потащили от плетня толстое бревно к маховику. послышался запах горелого дерева и машину остановили.

— Уж больно ты, мальчик, ретив, — сказал ему дядя и засмеялся. — Что ж, Авдотья, клади на пол, живо наладим.

Вася стоял очень смущенный и, когда повер-

нулся сойти, вобрав, по старому, голову в плечи, на него внезапно обрушился развязанный сноп, — его наклон головы и движение Авдотьиных рук, высоко державших зыбко плывучую тяжелую ношу, пересеклись между собою.

— Славно перекрестила! — сказал Кирилла Матвеевч. — Хорошенько, сударь, ее! — и, хлопнув ладонью подавальщику по спине, отошел.

Смахнув рожь с головы, увидел Вася круглое запотевшее лицо перед собою. Глаза девушки, также круглые, темно-серые и ясные под запыленными ресницами до необычайности, глядели на него без смущения, напротив того, с ласково легким задором.

— Нечаянно, барчук, право слово нечаянно, — сказала она и рукавом утерла потное, с осевшею пылью лицо.

Из темных губы ее стали пунцовыми, оне были крупны и четко надрезаны; блеснула полоска зубов, влажных и белых. Девушка была среднего роста, очень здоровая, крепкая; под желтою кофтой ее дыхание было так полно и жарко, что Вася даже посторонился. Гордый своим положением у барабана раньше он вовсе не замечал, кто ему подавал снопы на полук. «Хорошенько, сударь, ее!» — вспомнил он дядин наказ, хотел что-то сказать или сделать, но ничего не сделал и не сказал, а, покраснев, пошел мимо решоток к маховику.

Нечаянной передышке, как Вася увидел, все с устали были, в сущности, рады. Однако же, надо было спешить — под вечер закончить «приклад»; он был к тому же последним. Опять на возвышении

у полка появился усатый и лысый Михайла, старший рабочий, и ловко стал пошевеливать, играючи, будто бы правил послушную тройкой коней, текучими полуснопками; у ворот приходилось только повертываться. Черномазая, как цыганка, Полюшка, посверкивая на Васю, ставшего опять у ворот, черным, немного косящим глазком, бегала бегом, едва успевая, урывкой, залезть под платок почёсаться. Когда становилось совсем не под силу управляться с соломой одним, отрывались и прибегали помочь выграбельщицы из под решоток; все вместе тогда наваливались оне на громоздкие кучи, застилавшие свет, и теснясь и путаясь, падая, а еще того пуще смеясь, выталкивались вместе с соломой наружу. Вася, развенчанный, скоро забыл свою неудачу у барабана. В работе ли самой, в молодости ли, но много было веселья, да не было и минуты свободной хотя бы для излюбленного своего раздумчивого жеста — сбоку тронуть очки. Танечка часто кидалась в самую кучу и казалась там гладеньким розовым яблочком, упавшим в груды листвы.

Кончили поздно, уже темнел и закат, и золотили ресницы взглянувших на небо первые вечерние звезды.

К запаху свежей соломы, зерна и горьковатых трав с межников резкой струей примешивался теперь запах вспотевших отпряженных лошадей. От пыли и от аромата близкого вороха лошади громко отфыркивались, шевелили губами, подбирая просыпанный колос, пряли ушами, косили глаза и стучали копытом о гладкий, убитый ток. Мужики

убирали ремень и заматали оставшийся колос, а бабы выбегали наружу отереться подолом от пыли, поправить платок.

Уже позвякивал Кирилл Матвееч увесистой связкой ключей, готовясь замкнуть тяжелым замком тяжелые ворота риги, когда молодайка в красной тканевой юбке, пошушукавшись с бабами, подошла к хозяину сбоку и со всего размаху кинула его в ворох.

— Бабы, купать! — закричала она.

— Что они делают? — спросил в изумлении Вася.

— А это, барчук, такая обычая, — ответил Михайла, только что вытерший досуха, наконец, свою лысину и теперь крутивший, поплеывая, из газетной бумаги цыгарку. — По тому случаю, как стало быть со ржицею пошабашили. Чтобы на предбудущий год... Бог бы, того... послал еще того лутче...

Старого барина купали недолго, больше для виду, но когда черед дошел до молодого и та же солдатка, подкравшись, толкнула и Васю, дело пошло веселей. За него вступились, как полагалось, и парни, веселую подняв кутерьму, а с нею и облаками острую пахучую пыль. Васе казалось, что он охмелел в этом купаньи и он ловил уже сам и кидал в остистую пухлую кучу, кого попадетсЯ; но желтая жаркая кофта слепила глаза, и тут руки его, прикасаясь, дрожали.

Когда он поднялся, наконец, и, отряхнувшись, стал поправлять очки, то увидал, что стоят в стороне только трое: Кирилл Матвееч с Михайлой в

деловом разговоре, да Танечка, одна у верей. Что-то кольнуло у Васи в груди, когда он взглянул на сестру. Ему показалась во взгляде у девочки настороженность и, может быть, даже, невнятный укор. Но скоро он убедился, что все это выдумал сам.

— Как оне тебя, Васинька, — сказала она раздельно-певуче, по бабьи, когда он к ней подошел, и покачала с комической жалостью своею гладкой головкой. — Не больно?

Вася вгляделся и в глазах ее прочитал невинное одно любопытство, и разве был еще только лукавый, легкий смешок. О, как в деревне все просто! «Хорошенько, сударь, ее!» Вася опять покраснел и, взяв под крылышко Танечку, вышел вместе с другими.

Идя между девиц мимо варка, откуда свежо пахло навозом и парным вечерним удоем, Вася невольно прислушивался к тому, о чем говорили шедшие сбоку и поотстав Авдотья и Гришка, младший работник; странное, самому ему непонятное беспокойство овладевало им.

— О чем, они? — спросил он Полюшку, мотнув головою в их сторону.

— Об чем, а я знаю?

— Будто не знаешь, — сказал Вася, напуская на себя развязность.

— Я бы, может, сказала, да я тут, — отвечала Полюшка загадочно и засмеялась.

На терассу вынесли лампу, хотя еще и не вовсе было темно, и чуть видимые веселые янтарные зайчики проливались из медленно откидываемых вместе с головами чайных стаканов, полных на поло-

вину зеленоватой горячительной влаги, веселя и оживляя уставшую грудь. Кирилла, Матвеич, по случаю удачного дня, обещанным обносил всех в круговую.

Назавтра, на вейку, оставили двоих девиц ночевать. Михайлу позвали пить чай, а все остальные, кроме своих, отправились, огибая сад, по дороге к селу, и на углу, на повороте, молодайкин голос звонко завел величальную песню.

— Кто это с Гришкой-то шел, я забыл, как зовут, — спросил, будто бы к слову, Танечку Вася.

— С Гришкой кто шел? А Душка.

И уже на пороге в переднюю, Танечка остановилась и, засмеявшись, сказала еще:

— За нее Гришка наш сватается, Прасковья сказывала, да только она не пойдет.

IV

С этим именем: Душка — Вася встал и на утро. Проснулся он рано и вышел, только умывшись, на террасу и в сад; Танечка еще не подымалась и он хотел разбудить ее яблоками. Был мягкий туманный денек и влажные листья сочно ложились под Васиными шагами. Ему сразу же посчастливилось: на низких ветвях росшей близко к плетню старой раскидистой яблони он отыскал два огромных, поникших и затаившихся в кусте бересклета, кубастых апорта. Яблоки были холодны и тяжелы, Вася только приподнял их и плодовые веточки тотчас, легко и покорно, с явственным звуком удовлетворенности, отделились от дерева; поднялась с облегчением и закивала и вся освобожденная ветвь. Вася, однако же, знал, что как бы апорт ни был зрел, надо ему дать улежаться, а потому долго выглядывал еще и лазил по корявым сукам почти совсем обнажившейся «овечьей мордочки», увлекшись веселой охотой. «Душка, душа... Психея...

Вот странное имя!» — думал он, между тем: «и в то же время — просто Авдотья»...

Танечка проснулась уже, но еще неохотно открывала, тотчас опять закрывая, глаза. Вася, войдя к ней, высыпал яблоки у самой подушки, и девочка рассмеялась.

— Не хочется уезжать, — сказала она и задумалась.

Когда Вася вышел в столовую и увидал Любозю Петровну, в ожидании кофе резавшую широкими лентами серую оберточную бумагу для заклейки окон, ему сделалось безотчетно грустно. Осень идет, Танечка уезжает. Как хорошо было с ней! Точно играючи, отодвинула девочка какой-то давивший его, им самим наваленный камень, а под камнем... Да, пусть миновалось оно, первое Васино увлечение, давнее, что пережито духами, пусть несколько позже засорял он себя, там... в Петербурге, но вот сердце опять обнажено, детские руки и открытая строгая осень опять его уготовали для этого чувства, что, как источник, бьющий живою водой, может иссякнуть разве лишь с самою жизнью.

Сегодня у Васи в груди было томительно неопределенное ощущение, точно день, предстоящий ему, был чем-то чреват и отягощен неразличным пока в его тумане событием. Неясно заманчивой рисовалась ему идущая в риге вейка вчера обмолоченной ржи, и ему хотелось и не хотелось идти туда. «А может быть, там ее вовсе и нет?» — думалось Васе, и он краснел, ловя себя на этой неотвязчивой мысли о Душке.

— Что это ты, — заметила, наконец, его беспокойство и Любовь Петровна, — уж не с ветчинки ли со вчерашней? Кирилла Матвееч с утра тоже мне жаловался. . .

Вася в ответ немного повеселел, но только когда подали кофе с целыми корочками затомившихся, почти поджаренных сливок и выбежала снова веселая Танечка, умытая и розовая, с мелкими блестящими капельками воды на выбившихся прядках волос у висков, и повисла с размаху на шее у Любы, а потом примостилась и к Васе и быстрым движением по скатерти притянула свою горячую плоскую чашечку из коричневой глины, только тогда Вася выпрямил спину; в эту минуту почувствовал он, как ощущение молодости, точно вода из ручья, пробежало по всему его телу, а сердце забилось, преодолев тоску, предчувствием радости; и рига сразу перестала быть страшной.

Душка на вейке, конечно, была. Он тотчас же узнал ее вчерашнюю желтую кофту. Она стояла у ручки и, нагибаясь и разгибаясь, вертя колесо, весело, весело о чем-то кричала, чтобы слышно было сквозь грохот, лохматому, неуклюжему Гришке, подававшему в веялку.

— Ну что, дружок, выпался? Здравствуй!

Кирилла Матвееч с метлой для этого случая особенно выбранной («как шелк метелочка» — оценил ее Никанор), с любовною бережностью смехивал с кучи зерна всякий туда проскочивший колос или соображал, сколько будет возов, явно и с удовольствием преуменьшая, чтобы иметь возможность потом, с еще большим удовольствием,

удивляться необыкновенному умолоту, так как приклад, вчера обмолоченный, был из самых хороших.

Танечка сразу уселась рядом с цыганкой Полюшкой, отгребавшей лопатой зерно.

Самая, может быть, ладная из всех сельских работ, по хорошему урожаю, именно вейка. Тарахтят равномерно решета, засыпается из тяжелого вороха за севалкой севалка, а внизу по деревянному ложу, полируя его, золотой, непревзойденной струей щедро льется зерно. Только теперь, наконец, родилось оно в этой хозяйской горсти, чутко определяющей вес. Его берут и по нескольку зерен, дабы получить, как от лакомства, ощущение вкуса, и подносят понюхать полной пригоршней почти мистический его аромат, и даже щекою, потатарски сидя у велки и отгребая зерно, неотразимо приятно прилечь к щеке же крутого плавучего вороха и ощутить его холодящую свежесть.

Вася взял у ворот стоявшую праздно лопату и стал подгребать ближе невейку, чтобы Гришке удобнее было черпать севалкой. Какой-то инстинкт подсказал ему это столь же любимое, как и с метлою у вороха, хозяйское дело, и по мимолетному взгляду Кириллы Матвеича он почувствовал его одобрение.

Работа эта — полурбота и после вчерашней как отдых, и прогребая невейку лопатой от самого гладко убитого тока, чтобы вскинуть ею наверх, Вася чувствовал, как все смутное в нем естественно и необходимо становится на свое место. «Рабочая жизнь, труд... как хорошо!» — думал он не

особенно связно, но нет-нет да и посматривал на Гришку у веялки.

Гришка сегодня был в сапогах и лихо сдвинутой на затылок, примятой фуражке. Почти вовсе безбровое и испитое, некрасивое лицо его было мрачно, по обыкновению, и неприветливо, но иногда, насыпав доверху ящик над веялкой, он останавливался и, шевеля сверху пальцами, помогая зерну проходить, говорил что-то Душке, на что она махала от хохота головой, и свободной рукою в который раз уже! — скидывала его фуражку на землю. И когда он опять нагибался, полуобернувшись, чтобы поднять ее с земли, лицо его было другим. . .

На Васю, казалось, не обращала Душка никакого внимания и только раз он поймал на себе ее взгляд — и внимательный, и опять, как тогда у бабаана, не без задора и легкой усмешки.

После обеда возили, сразу тремя возами, и Кирилла Матвеич, оставив метлу и почетный свой у вороха пост, стоял теперь у возов. Широкой ладонью он весело разгребал льющееся из севалок зерно и заталкивал его под раскинутое веретье в углы возле грядок. Веялка, по старинке, не была на высоте, и там и сям между зернами янтарно-зеленоватым отливом поблескивали крупные душистые луковки чеснока и уютно прятались, ускользая от пальцев, коричнево-желтые венчики васильков.

Когда все три телеги, одна за другой, были готовы, веретья зашпилены деревянными гладкими спицами, а на верху пузатых возов, для оконча-

тельной прочности, водружены обернутые к верху дном севалки и меры, Васю командировали на ссыпку в амбар. Внутри этой каменной стройки было темно, свет шел от дверей, затененных навесом и под'ежавшими возами, да слабый с лестницы загром. Когда зерно было накидано так, что стало сыпаться через загородку, Никанор, от'езжая, сказал:

— Я попрошу у Кириллы Матвеича кого поздоровавше, надо отгреть.

И еще до нового возвращения воев, Вася услышал быстрые чьи-то шаги и, вслед затем, голос с порога:

— И ничего не видеть!

— Проходите сюда, — позвал Вася из темноты.

— Ай вы тут? — спросила Душка и засмеялась.

Вася не отвечал ничего. Утром на вейке, глядя на Гришкино наклоненное лицо, каждый раз, как он подымал сброшенный Душкой картуз, Вася нескладно думал о том, как удивительно изменялось оно и даже переставало быть некрасивым; и от мыслей этих становилось Васе и хорошо, и грустно одновременно. За обедом усиленно настраивал он себя как бы на отречение от чего-то и несколько раз принимался хвалить все того же вихрастого Гришку. Теперь все это сразу исчезло. Снова томление охватило его и странная робость. Он хотел бы что-то сказать, но опять не знал, что именно, что-нибудь очень простое и ровное, чтобы не выдать себя, и в то же время, приветливое, а вместо того глупо молчал. «Это все оттого, что я сказал ей на вы» — подумал он.

Со света не разбираясь, Душка быстро пошла и натолкнулась на гири, а натолкнувшись упала на Васю, сидевшего у лестницы на чердак. Вася порывисто обнял ее и коротко, с силой прижал к себе. Кровь с шумом лилась в нем, как если б зерно прорывало стенки амбара.

— Не ушиблись. . . не ошиблась ты? — спросил он прерывистым шопотом, отводя уже свои вдруг занемевшие руки.

— Ничего, — ответила Душка. — Пустите, — и быстро, по мальчишечьи перекинулась за стенку закрома. И опять шум от зерен из под ног ее сливался с шумом в груди. «Все пропало. . .» — подумал коротко Вася, — «я напугал ее». Краска стыда залила лицо, но еще трепетала и медлила уходить острая радость мгновенного разрешения целый день томивших его неясных желаний.

— Лопаточку дайте, — сказала Душка из темноты, и по тону слов ее Вася понял, что никакой неловкости не было.

Заскрипели колеса телеги, под'езжая Никанор, и Вася начал опять с чудесною легкостью пошвыривать мерку за меркой туда, где шумела лопата и переступали, скрипя, по упруго засасывающему зерну в темноте босые Душкины ноги.

Под вечер догадался Вася сбегать наверх и принес в подоле рубашки улежавшихся груш. В промежутках работы Душка ела их, а он стоял насупротив, опершись локтями на досчатую полустенку закрома, и глядел, при свете свечи, воткнутой в рожь, как открывались и замыкались ее влажные

губы и поблескивал из-за загнутых круто ресниц все тот же смеющийся огонек ее глаз. Вася что-то болтал и Душка звонко смеялась на те пустяки, что он с одушевлением рассказывал ей.

V

В воскресенье после обеда Танечку отвозили на станцию, но с утра поехали в церковь; дома осталась одна Любовь Петровна стряпать и укладывать в дальний путь Танечку.

В Никольском расписывали иконостас и ехать пришлось в соседнее Волково, где как раз справляли престол, свящennomученика Кукши, просветителя Орловского края. Ехать пришлось верст шесть или семь наезженным гладким проселком, а то и напрямиком с рубежа на рубеж. Неизменный спутник во всяких поездках, бежал сторонкою Чуркин, любимец Танечки. Это была единственная в усадьбе собака, солового цвета, гладкая, но с печальными человеческими глазами. Про нее сложилась в округе легенда, что будто бы она не только провожала хозяев до церкви, но и ходила вместе с ними к обедне. Улучив момент, осторожно просовывал голову Чуркин, а за ней и все свое гладкое туловище, и тихонько, слегка отступив от порога, усаживался на задние лапы между старух Его сначала гоня-

ли, но потом понемому привыкли или, вернее, перестали совсем замечать, обертываясь лишь на скрип церковных дверей, когда он уходил. А Чуркин смиренно исчезал каждый раз в тот самый момент, как священник провозглашал о выходе оглашенных. Танечка, радуясь, верила, что был он и вправду знаменитый разбойник, отбывавший в собачьем образе годы своего покаяния.

Церковь в Волкове была деревянная с неизвестными могильными камнями в ограде, с купами старых, но вовсе еще обнаженных осенью лип, с меланхолическим темным иконостасом внутри и цепочкою на нем желтых и розовых лампад, зажженных ради престола.

Кирилла Матвейч, Танечка и Вася заняли традиционное почетное место у левого клироса, а когда читали часы, между обедней и утреней, все выходили на ярмарку. Танечку сразу же окружили девицы, а Кирилла Матвейча накупал детворе деревенских сластей из патоки и муки, в золотых, по краям надрезанных мелко заvertках. Вася чувствовал себя несколько грустно, как и во все последние дни; опять овладевало им ощущение своей отрешенности и далекости, и чем было все праздничней и яснее вокруг, тем острее кололо в груди.

Душки с того самого вечера ссыпки в амбаре он не видал и тайно завидовал Гришке, как вечер — убежавшему на деревню. Нынче он также будет на улице в новой рубахе, зелено-золотой с переливами, после долгого и обстоятельного торга купленной третьего дня за два пятнадцать; китаец с косою и ручною тележкой, плотно набитой това-

ром, божился всеми богами, что красивее этого нет ничего на земле... А Вася Лопатин, как и в прошлое воскресенье, будет опять стоять у балкона, слушать звуки гармоники да девическое громкое пение на селе и курить одинокие свои папироски одну за другой. И Танечка уезжает, с ней и Кирилла Матвееч, который вернется только на утро...

Вася не раз думал о том, что собственно мешает и ему развернуться, также надеть высокие сапоги и косоворотку и итти водить хоровод или даже хотя бы так постоять в кучке парней, спокойно поплеывая, как и они, семечками на сторону да разные отпуская небрежно словечки. Но он только криво поводил губами, рисуя себе эту идиллию. Даже на тихую никольскую жизнь в дядюшкином доме стал он глядеть подчас с некоторым укором и раздражением. «И все таки мы господа», — думал он сгоречью — «и этого как платья не скинешь. А я, кроме того, городской человек, потевший всю простоту»...

Бродили в нем и другие еще, неясные, но очень волнующие мысли... В конце концов, почему, собственно, эта крестьянская девушка, что ни день, все острее тревожила чувства его и воображение, а вся стихия ее действовала на него неотразимо, как волнует неотразимо порою и покоряет пласт черной весенней земли, глянувшей из под талого снега?

— Заскучал ты у нас, — говорил ему дядя. — Подожди, Бог даст еще поживешь, вот начнется веселье! Завалит нас снегом, а супротив окон, по па-

ре на каждое, для развлечения нам, заведут свои песенки волки... Что тебе граммофон!

Вася хотел бы ответить: «Дядя, выстрой мне хату. Я скоро женюсь и останусь тут жить. А волки, что ж — пусть»!..

Но он упорно молчал, и теперь, купив и себе длинных копеечных палочек с бахромой по концам, вовсе не знал, что с ними делать. Кругом стоял говор, неторопливый и оживленный, колыхались спины и плечи, пестрели платки, грызли корявенькие рожки с червоточинами, лесные орехи, лущили подсолнухи. Вдруг он увидел бегущую Танечку. Она махала руками и высоко подпрыгивала, развевая оборки коротенькой юбки, словно скакала через бичеву.

— Иди скорей, тебя Душка зовет, — запыхавшись, сказала она и потащила Васю за руку.

Отдельною кучкою от других стояли девицы из Никольского; оне были разряжены по городски, кофты заправлены в пояс, на плечах косыночки и шарфы, гребешки в волосах и смешное праздничное «вы» в обращении даже друг с другом. Вася, конфузясь, поздоровался с ними за руку и отдал конфеты. Оне угостили его своими орехами из платков, будто бы носовых стянутых к одному углу; белый их цвет переходил, однако, уже в сероватый. Между другими стояла и Душка, она ничего не говорила и только изредка улыбалась, также немного жеманясь, по праздничному, и то и дело неспешным движением поднося кончик шарфа к губам.

Девицы расспрашивали Васю, отчего он не хо-

дит на улицу, долго ли здесь поживет, звали рядиться зимой и гадать, если пробудет до святок.

— На Душкину свадьбу приходите гулять, — сказала Полюшка и покосилась: одним глазом на Душку, другим на Серафимку и, почти третьим, в это же самое время, на Васю Лопатина.

— Глаза раздерешь, — сердито ответила Серафимка, тускло блеснув своими — как черносливыны темными и большими; она забыла даже про «вы».

— А что же за вас что ли нынче Григорий Ипатьч приедут? — не осталась в долгу и Полюшка.

— Он видно сразу за двух, — с'язвила Аленка, подросток с намазанными красной бумагой щеками.

Все засмеялись. Улыбнулась и Душка, но глаза ее были серьезные, а когда зазвонили часто и мелко к обедне, она сама подошла мимо всех к Васе Лопатину и, тронув рукой его грудь, как собака касается лапой, вовсе и не заметив, должно быть, произвольного этого движения, сказала ему:

— Приходите нынче на улицу, мы будем ждать.

И в глазах ее в этот раз не было скрытой усмешки, ни задора.

Машинальным таким же движением у самой ограды тронул и Вася чью-то гладкую спину.

— Видишь, видишь, и он пробирается... — обрадовалась Чуркину Танечка, взяв Васю за руку; и, прижавшись к нему, короткою скороговоркой, уже не смеясь, сказала еще:

— Вот тебе и не будет скучно теперь, я нынче ведь еду...

VI

После чаю и пирогов через час подали и обед. Танечку в первый раз видал Вася задумчивой; порой казалось ему, что у нее, как в полую воду в ложинках, поросших лозой, набухает между ресницами. Тогда она быстро моргала, кивая и головой. Вместе они обошли Танечкины местечки и девочка не отпускала все время Васину руку.

Она сама принесла из Любиной корзинки припрятанные ею в сене два Васиных апорта и попросила Любу уложить их с собою.

Кирилл Матвеич за обедом хотел быть веселым, но это плохо ему удавалось, а Любовь Петровна ничего не ела и не сводила с Танечки глаз.

Васе было не по себе. «Что это значит», — раздумывал он:—«вот тебе и не будет скучно теперь?» Точно Танечка передавала его с рук на руки... И еще припомнилось, как в первый же день она обняла его и, целуя, сказала: «Он у нас будет жить. Совсем...»

И, Боже мой, какой пустотою повеял старый

Никольский дом, когда отзвучали последние скрипы удалявшегося за рекой тарантаса! Кирилл Матвееч поехал с Танечкой в город, Любовь Петровна скрылась к себе, по какому-то делу, а вернее просто поплакать. Чуркин, бегавший проводить отъезжавших, скоро вернулся и настойчиво-грустно, все еще неотпущенный грешник, чертил хвостом по куче песку, что привезли накануне для осенней починки печей и свалили пока у под'езда. Вася вышел на двор побродить, не зная за что ему взяться.

На крылечке рабочей избы сидела кухарка Прасковья в новом кубовом фартуке, полном подсолнухов. Она степенно передвинулась по лавке, давая место и Васе, но он присел у порога на камне, достал папиросу и закурил; на камне этом точили ножи и отбивались косы; углы его были с'едены лезвиями. На кухне была тишина.

— Или нет никого? — спросил Вася рассеянно.

Прасковья махнула рукой.

— А кому там и быть то! — сказала она. — Никанор уехал на станцию Михайлу домой отпустили, еще со вчерашнего вечера, а Гришка с Митюшкой на печке спят. Наморились вишь! И шут их знает, что на сам деле им деется, ровно бес в них сидит, угомону не знают. Чисто безбожники!

— А что ж тут такого, что спят? — возразил все также рассеянно Вася, — праздник.

— А то такого, — завела Прасковья рассказ. — Наморились, конечно. Спину-то гнули-гнули небось, а вот чуть тебе свет, поднялись: стало быть — выпались! Уздули огонь, глянула я — батюшки,

четыре часа! Давай будто им есть. Я, грешный человек, к черному их отослала, ради праздника то.. Грехи одни! Ну, пошарили сами, нашли стало быть кое что, пожевали, позавтракали. Все ничего, нет, давай в черепашку играть. Это перед обедней тебе! Гришка-то и отродясь не умел, а Никанор, видишь ты, вместе не может: и скакать, и играть. Так что придумали окаянные: Никанор порычит-порычит и давай скакать, потом хватъ черепашку опять — «дай еще музыки себе наиграю», и вдругорядь пошел. И к чему это, не приложу я ума, как бы машиною, чего доброго, не придушило, овес-то весь еще впереди. Отчаюги, не люди!.

— А Гришка что ж, тоже? — спросила Вася неопределенно.

— Ну этот что, этот от дурости. Совсем обмирает.

— По Душке?

— Ну да об ей. Нынче с отцом с поглядками едут, стало быть надвечер. Отец, видишь, с шахты вернулся, сына надумал женить. Да только она... ее не поймешь. Полюшка мне сказывала... (Прасковья понизила голос и оживилась). Идут они андысь с молотбе, он ей будто и говорит: «А я, говорит, к вам на Никольском дело имею». Ну что ж, отвечает, дело твое». «Посвататься, девка, хочу — это Гришка-то — вот опосля этого самого Кукиша (Прасковья была из дальней деревни и не постеснялась перевернуть имя святого), — тай ей и говорит дурак, — с батей приеду), — А что приезжать, приедет отец, а тут выгон один перебечь! Это все, значит, для форсу. «Ну что ж, приезжай. К

Серафимке что ль»? «И помим Серафимки найдем». С бусырью малый, а все говорит по порядку. Ну, а она ему: «Приезжай, на свадьбе гулять будем». Насмеялась значит, ему, а он дурак верит: обнадежила будто бы. Она у нас часто бывает, вот малый-то и привернулся к ней. Как чуть послабоднеет, все посылают за Душкой — по дому там... и мне помогает.

— Почему ж насмеялась, может и нет?

— И-и! Много их, дураков-то, на ложку цепляется! За нее, говорят, прикащик приедет из города. Бедная, что говорить, а первая девка, да и он, городской-то, красивый, такой из себя, сказывают, толстый, мордастый... обходительный человек.

Помолчав и обтерев подсолнечную шелуху, облипшую крупный ее подбородок, как осевшая куечка пчел, потянулась Прасковья всею своей четырехугольной монументальной фигурой, так что подмышками хрустнуло, и, Бог знает как связав с предыдущим, все под одно продолжала:

— А то еще у нас случай был, Василий Ликсеич. Человек один... рыбу ловил подле речки, да лег у болото, ну, стало быть, на конечке и заснул, а змея возьми да и заползи к нему в рот, а оттуда, значит, в живот...

— Да это бывает, — взволнованно поддакнул ей Вася и, не слушая дальше, пошел от крыльца.

«Почему позвала»? — думал он про себя. — «И сегодня, в день сватовства?.. А Гришка... спит».

Обогнув гумно, ригу и службы, быстро шагая, вошел Вася Лопатин в открытый всегда, гостепри-

имный сад. Пахло свежеепопавшей, но уже тронутой тлением, влажной листвой. Ничто тишину не нарушало, кроме треска сухих березовых веточек под крупными Васиными шагами да неопределенного мягкого шума листвы.

Душка, Полюшка. . . — как странно здесь их зовут! Но Вася привык уже к этой краткости имени, будто бы пренебрежительной, и находил ее изнутри скорее своеобразно товарищеской. И как просто и верно самое имя ее вязалось со звуками голоса и всею ею сегодняшней простотою невольного жеста. . . Все было мило в ней Васе, и. . . неужели все потерять?

Вася долго ходил, потеряв ощущение времени и то ускоряя шаги, то замедляя, вдоль густо заросшей канавы, где между редкой листвою кроваво рдел один бересклет, но когда стало заметно темнеть, Вася остановился и лишь понемногу стал видеть и понимать, какая глубокая открытость и простота были в осеннем саду, какая за день там отстоялась кристальная тишина и как, отдавшись ей, сердце готово принять все, что ему суждено, хотя бы и горькое; да, он пойдет нынче на улицу.

В воду гляделись огни с того берега — пять или шесть в низине дворов отделенцев. Теплыми желтыми пятнами, как поплавки, колыхались они на самой поверхности неслышимо убегающей речки, а ниже, на дне, мигал и золотился звездный песок. Далеко еще до сна на селе, воздух улицы полон движений, топота ног, звуков разноголосых гармоник. В каждой избе сквозь низкие окна тус-

кло желтым пятном глядит самовар, а на столе, крытом домашнею скатертью, стоят тарелки с ба-ранками и мятными груздиками — час чаепития, антракт между едою и горькой. Кое где парни, из тех, что побогаче — ремонтных рабочих и кон-дукторов, отпросившихся на денек — и бородатые мужики засели в картишки — три листика или, по-следняя новость — «двадцать одно». У многих дворов в полупотемках высятся поднятые кверху оглобли и слышен мерный хруст жующих коней; корм привезен с собою. А на крутом берегу у реки идет своим чередом «улица». Нынче она полулет-няя и полужимняя; Вася застал ее еще на дворе.

Много парней соседних (священномученика Кукшу праздновали и в Никольском, у него был придел) с тальянками на ремнях, в пиджаках и жи-летах, с позолоченными, вдетыми через петлю це-почками; свои Никольские поскромней, но если в руках всего только куцые черепашки, зато руба-хи стояли горбом только что не накрахмаленные, а тяжелые кисти от пояса низко бились по жирно намазаным голенищам. Девицы, особняком от парней, «водили тонки», медленно двигаясь в об-щём кругу; держались оне рука в руку с соседкой, обернув пальцы в платочек. Одна заводила, за ней подголосок, и только потом подхватывали осталь-ные. Иногда цепь распадалась и шли поглядеть на пляску парней, теснясь сжатым кольцом, опираясь на плечи друг друга, но с тем же все, неизменным, по моде, платочком у губ.

Деревенская пляска на Васю произвела впечат-ление вполне неожиданное. Не оказалось в ней ни

раздолья, ни свежести, ни вдохновения, но было множество, взамен того, замысловатых вывертов и выкрутас, строго заученных и размеренных. Плясали по одному, с деревянным лицом, не отрывая глаз от концов сапога и отбивая ритм затекшей, поднятой в уровень глаза рукой. Отработав свое, отирал парень рукою лицо и впивался тотчас в носки другого танцора. Тишина вокруг плясунов была полная, все, следили движения, особенно ног, точно замороженные, да и сами танцоры были похожи на загипнотизированных или на кукол с заведенной хитрой машинкой. Раз один из парней чиркнул даже спичкою и поднес ее к сапогам своего визави и конкурента; и никто при этом не рассмеялся. . .

Утомившись следить этот сеанс академической пляски, Вася невольно с ней сопоставил и деревенскую ругань, классическую, разработанную до виртуозности, но саму в себе замкнутую, как строгий итальянский сонет. И там, и тут непостижимая была какая-то математика, сводившая искусство к нулю. Это было новой чертой, поразившею Васю в тот вечер. Много позже, когда он думал об этом, уже совсем взрослым вспоминая осень в Никольском, приходили ему и другие на ум параллели, — страстная жажда у русских упиться именно мертвою формой: будь то догма политически философского верования, иди двуперстное крестное знамение, или, проще — на каждом шагу — выработка какогонибудь устава или «положения», где каждый параграф, а к нему еще и примечания, создаются с таким огромным душевным напором, с та-

кою подлинной страстностью, что зачастую этим все дело и бывает исчерпано; или хотя бы отечественные знаменитые циркуляры всякого рода, по изощренности не уступающие изощреннейшим творениям современных им стихотворцев... И не есть ли это в корне одно: бегство от хаоса к форме, отдохновение в холоде, дабы не сгореть?

Сейчас, впрочем, Вася не думал об этом или подумал лишь весьма неотчетливо. Но то же недоумение не покидало его и тогда, как смотрел на манерные танцы девиц, изображавших то полечку, то краковяк, именовавшийся ими не без деликатности: «коровяк». Вместо простых и привлекательных, какими их знал на работе, увидел Вася жеманниц чистейшей воды; и не была среди них исключением даже и Душка, хотя эта роль и удавалась ей плохо. С Васей она перекинулась всего немногими словами, но, кажется, все же ей было приятно, что он пришел на ее зов: Вася сдержанности этой не понимал, и на душе его было смутно.

Скоро, однако, стало и вовсе томительно, и он собирался было исчезнуть, как вдруг по толпе прошло какое-то замешательство. Запыхавшаяся от бега Аленка, уже отмывшая свой бумажный румянец, за который жестоко досталось ей после обедни от бабки, прибежала за Душкой: Душкина мать звала, приехали на поглядки — Гришка и Гришкин отец. Косицы Аленкины растрепались от бега, а в глазах сверкало и любопытство, и беглые зарницы понятного того волнения, которое охватывает девчонок-подростков от всякого касания к чужому пока, но и для них, в свой черед, неизбеж-

ному сватовству, от самых даже и слов: невеста, жених. . .

— Девочки, милые. . . за Душку приехали. . . Пойдемте глядеть. . . Приехали, сейчас умереть! . . — заохали и зашелестели в толпе, а парни сбились вдруг в кучку и издали молча поглядывали с угрюмою недоброжелательностью (Гришка был чужаком) и были в этот момент как-то все на одно лицо.

Зато у девиц . . . О, сколько бы мог Вася Лопатин приметить у них: взглядов косых и лукавых, деланно насмешливых, скрытно завистных и открыто взволнованных! Но он глядел и видел одну только Душку. Лицо ее переменилось и стало странно спокойно, движения просты, естественны; ни тени у ней не открыл Вася смущения или растерянности, и если что было за этою простотой, то разве лишь строгость и, притом, не к кому-нибудь и не к себе самой, а строгость как состояние души: нельзя не быть строгим в деле серьезном.

Она всего только и сделала, что подошла к Полюшке, взяла ее за руку и позвала: «Полечка, пойдем со мной», потом обернулась к другим и им сказала: «Прощайте, девочки, я нынче уж, знать, не приду». Потом оне обе пошли, а Аленка побежала курьером вперед.

Вася глядел им вслед и сердце его билось неровно. Сватовства этого надобно было ждать, и все же оно вышло внезапным, несмотря на разговоры с Прасковьей. Вася не был особенно быстр ни на размышления, ни на душевные переживания, и до него доходило не сразу. Но когда сейчас ясно представил себе ее жениха, с белыми его мочаль-

ными косицами, выползавшими из под картуза, и рядом с ним эту строгую девушку, так нечаянно открывшуюся с новой еще стороны — пленительно гармонической, что-то толкнуло его, и он, не раздумывая, пошел за удалявшимися.

Уход его был замечен; барышни поджали губки и, немного помедлив, одна по одной, также пошли — поглядеть, как все это будет.

Обе подружки шли как всегда, неспеша и Вася их быстро догнал. На шаги его оне не обернулись, верно их не узнав, и Вася услышал последнюю Pollyшкину фразу: «А по моему лучше синелевое». Душка в ответ засмеялась и возразила с упрямством и живостью: «Нет, полушалок малиновый и палевое». «Ты думаешь лучше?» «У-гу»!

Вася, замедлив шаг, слегка поотстал, потом сделал еще несколько невнятных шагов, потом, услышав, что сзади кто-то идет, быстро свернул в сторону и зашагал по направлению к дому.

Перелезши через густые заросли канавы и, наконец, через плетень в смутно густевший и показавшийся ему незнакомым сад, Вася Лопатин подошел к дикой яблоне, темно ветвистой в ночи, и, прислонившись к ее холодному стволу, почувствовал вдруг, как ему было мучительно стыдно. И не потому, что он как бы ошибся, нечаянно различив за царственно верным спокойствием девушки какие то другие, слишком обыденные ее черты, что пресекли его невольный порыв, а, вернее всего, за себя. Это он, Вася Лопатин, ничего вокруг не понимал, это он всему оказался чужой; все шло, как и итти надлежит, но ему среди других не было ме-

ста; сердце открыто, но... пусто, никто в него не вступил. Или еще и иначе: чувства его не достаточно яркие? Мало развита воля? Или его расшатал уже город? А он еще думал о том, как и он развернется...

С низов дышал от травы легкий новорожденный мороз, но Вася его и через потертые свои штiblеты не замечал; он стоял, все тесней прижимаясь, с невнятной жалобой, к яблоневой холодной коре, и единственным отрадным его ощущением было то, как впивались ее корявые выступы в горячую кожу щеки и острою линией от глаза до уха давили очки. Боже мой, если бы Танечка была еще здесь, с ней так легко! Так все по иному через нее воспринималось, пока была милая девочка в доме: молодое все, когда молодые глаза... Но Танечки не было, и в этот темный час лежала она уже не под своим разноцветным, из лоскутков, а под казенным вытертым одеялом и грела, может быть, одна о другую веселые свои, а теперь загрузившие деревенские ножки, домашним теплом избалованные... Вспоминала ли она Васю и знает ли, как сейчас ему тяжело? И почему это жизнь идет, как машина, однажды кем-то заведенная, не считаясь с живым человеческим и своевольным хотением?.. Или именно это он должен принять в свое сердце? Тихий вечер прошел и место его заступила морозная и одинокая ночь.

Когда Вася вернулся, Любовь Петровна еще не спала, но была уже у себя. Она окликнула Васю, сказала, что там молоко на столе, и, грустно вздох-

нув, зашептала опять длинные свои, на сон грядущий молитвы. Вася молока пить не стал и думал, ложась, как давно уже он не молился. . .

VII

На утро Вася встал поздно и с головою несвежей. Еще лежа в постели, он взял папиросу, чтобы прогнать свою непонятную слабость. Ни одной живой мысли не шевелилось в голове и только когда, пролежав так с четверть часа, вспомнил, что с утренним поездом должен был приехать уже дядюшка Кирилла Матвеич, начал вставать.

Но в доме была тишина. Вася вышел в столовую и, поглядев в запотевшие стекла, сразу почувствовал, а отчасти и вспомнил, то что вечером не дошло до сознания, — что был ночью мороз: трава на дворе стояла мокрая, как человек, не вполне отошедший от обморока. Васе смутно почувствовалось в этом какое-то соответствие с собственным странным оцепенением, все еще длившимся.

Любовь Петровну нашел он уже на кухне, куда забежал, наскоро тронувши завтрак, ему захотелось дальней прогулки. Обе женщины были заняты хозяйственными делами и уделили Васе мало внимания.

— Кирилл Матвееч наш загулял что-то в городе, — сказала Любовь Петровна. — Гришки до сей поры нет, видно, остался ждать до ростовского. И Душки нет дома, надо бы было хоть после обеда белье замочить, — продолжала она, обращаясь уже больше к Прасковье, — то молотьба, а то, видишь ли, праздники.

Прасковья была хмуро настроена и не отвечала.

Вася вышел и мимо колодца пошел знакомой дороною к лесу. Земля на тропинке оттаяла, но все же была туга под ногой; шаги ложились упруго, без звука. И эта упругость и тишина передавались Васину телу, а затем, постепенно, проникали и глубже.

Лес лежал на той стороне реки смутно лиловый и матовый, на него хорошо было глядеть. Но уже почти дойдя до моста, Вася раздумал и стал подниматься вверх по реке, медля ее перейти и наметив себе переправу повыше: там черее воду были положены камни для пешеходов.

И вода в реке нынче казалась ему гуще обычной; кое-где становился берег обрывистым и русло реки круто сжималось, а вода заводила глухой разговор, и голос ее был заметно суров; горбатые струи были черны. Для себя незаметно, и Вася мало-по-малу становился бодрее, и когда в одном таком месте он сел на изъеденный временем камень и, достав папиросу, неспешно ее закурил, табак показался ему недостаточно крепким.

Он опять уже думал о Душке, но как сегодня совсем по-иному, спокойно и даже несколько властно; не так, как думает мальчик, а по-мужски. Не

были эти думы его очень определенными, просто пришла к нему и все возрастала сила и независимость от где-то происходящих событий; ему опять захотелось идти и, вообще, какого-то действия. напряжения мышц.

Уже совсем у перехода, там, где с той стороны подходил к самому берегу лес, вблизи лохматый и мокрый, а с этой круто к реке сбегал глубокий овраг, Вася остановился. На противоположной стороне оврага, отлого подымавшейся вверх, он различил тысячи птиц — ворон или галок, или грачей: Вася как городской человек плохо их различал. Птицы сидели, насупившись, и казались отсюда раскиданными во множестве черными деревяшками. Зрелище было унылое и своеобразно красивое.

Вася не зная еще, как это будет, стал осторожно спускаться, но все же крайние сторожевые заметили его приближение и издали короткий деревянный звук, явственно недовольный. Те, что сидели по краю, вяло и с крайнею неохотой перелезали на два-три шага. Тогда Вася, с удвоенной осторожностью и вдруг пробудившимся в нем инстинктом хитрости, стал огибать пологий склон за одиноким обветренным выступом. Время от времени он слышал вверху все то же сухое, дерущее горло покаркивание, но когда внезапно поднялся над склоном, то все огромное поле было перед ним черно. Тотчас он кинулся прямо перед собою, крича и махая фуражкой. Целая широкая полоса, ближайшая, поднялась, каркая, в воздух; остальные продолжали сидеть. Он побежал дальше, и так, полосу за полосой, вздымал перед собою темные

тучи. Нечто похожее на опьянение постепенно овладевало им, ему неудержимо надобно было теперь всколыхнуть все это море, привести в движение всю неисчислимую черную рать. Уже и теперь воздух был полон свиста от крыл и от карканья, зловещего и раздраженного, но это-то и подмывало все более Васю. Птицы были, однако, упорны и, подымаясь невысоко, опускались снова где-то позади сидевших; живое черное поле перед Васею, таким образом, не уменьшалось, а всего только пятилось передними волнами и сгущенно темнело вдали. Тогда Васю охватило настоящее вдохновение, и он побежал изо всех сил, то устремляясь прямо, то резко сворачивая, крича и визжа, махая руками, кружась и приседая, как настоящий маленький атом налетевшей вдруг бури. И вот Васина цель оказалась достигнутой. Это было оглушительных несколько минут, когда все неисчислимое воронье, очевидно признав себя побежденным и преодолев, наконец, упрямую косность своего зыбкого многотысячного тела, поднялось, прижатое к скирдам соседней деревни. Чудовищной чернотальнойю спиралью кружились, каркая во весь рот, показавшиеся Васе вдруг на секунду огромными птицы. Зловещий этот водоворот заметно сгущался над ним и низился над его головой, как бы собираясь напасть на дерзкого человека. Васе пришло потом в голову, что птицы могли бы его заклевать, а если бы все их тела, только подумать... слились в одну колоссальную птицу, то убило бы это чудовище не только что взмахом крыла, но и одного пера, толщиной в столетний дуб. Теперь

ему было не до размышлений, но сказочно дикая сила противника, в создании смутная, была в непосредственном его ощущении очень сильна, и это именно чувство осуществленной человеческой мощи, победы, доставляло Васе собою также может быть несколько дикое, но большое и настоящее удовлетворение. Он стоял несколько полных минут и дышал глубокою грудью; пот катился с лица, руки от возбуждения немного дрожали.

Еще немного спустя, ему стало уже просто и весело необычайно от всего этого боя, столь внезапно затеянного...

Но когда, все еще стоя там, где победил, остался Вася один среди тишины осеннего влажного дня, непонятная и властная грусть заняла в душе его свой необходимый черед. Он победил, он расколол это множество на двое, и таяли два облачка вдалеке, теперь едва различимые, изменяясь только в оттенках своей черноты: то сизой, то угольно-пепельной — в соответствии, верно, с ритмически согласованным движением крыл; таяли, и вот порой исчезали совсем, переходя в небытие, в смутное царство смутных же и уже не тревожащих признаков. Но к чему все это сделал Вася Лопатин? Он ничего об этом не знал, и шла его грусть не от этой ли, очевидно открытой вдруг человеку бесцельности?

И это ощущение, однако, не было длительным, Вася встряхнулся и, быстро перебежав по камням через речку, зашагал между деревьями; лицо продолжало жарко гореть, но уже не от стыда, как вчера, а от недавнего возбуждения, еще не улегшего-

ся, и еще, может быть, от неформленной пока жажды... чего? Прохлада приятно его освежала, и было похоже на то, что окунулся в лес, как в родник: здесь по кустам и совсем растерялась ми-молетная Васина грусть.

Шел он теперь без мыслей, забыв о курении, и, раздвигая кусты, приоткрывал изредка и губы, не давая, впрочем, труда полностью улыбнуться; с наслаждением также расправлял время от времени Вася в воздухе пальцы, как бы после тяжелой работы, которую только что осознал.

Листва под ногами не лежала уже вольная и подвижная, а грудилась мокрыми кучками; порою мочежинки блестели в низинах и изумрудный, изумительной свежести мох окаймлял веселым своим, густым бархатом эти крохотные озера; можно было еще кое-где увидеть на них жуков-водомеров, уже ослабевших и подтощавших, а потому и шныряющих без особенной резвости, да нет-нет прожужжит возле уха неутомимый чудак, эпигон минувшего лета — длинноногий и худощавый комар.

Но и без этого чахлого труженника, одной из самых первобытных, думается, тварей земных, издавшего трубный свой писк еще над первобытнейшими болотами, в которых тонула земля, и сама-то похожая, по тем временам, на взбухшее тесто, над которым еще не успели хорошенько подумать, что из него, собственно, вылепить; и без этого откровенно посредственного музыканта всех времен и народов, упорство которого право же (как это водится между людьми) давно бы должно сойти за талант, — и без него тишина в сыром осеннем

лесу полна была сложных, трудно определяемых звуков: прела листва, в какие то малые щелки, со-
пя, с настойчивостью и упорством непобедимыми
стремилась проникнуть вода, и неохотно, по при-
нуждению выдавливался по соседству мутный пу-
зырь с легким привкусом болотного газа; видимо,
кроме того, кое-где отставала кора, падал набух-
ший с осины листок и, падая, плавно покачивался
— красивая, легкая смерть. . . — самый воздух шу-
мел, наконец, спокойно и неторопливо скользя ме-
жду ветвей, да и в Васином молодом существе ощу-
тимо толкалась упругая кровь о мускулистые стен-
ки сосудов. . . И если надо назвать то нечто, что
все эти звуки объединяло, так это была их перво-
бытность. И были они еще почему-то странно срод-
ни недавней Васиной битве с сонмищем птиц. Толь-
ко одно: здесь не могло бы возникнуть и самого
слова бесцельность, ибо и Вася был тут — как тра-
ва и земля, или эти ее, из под прелой листвы воз-
никавшие пузыри . . .

VIII

Но стоило зародиться иному, уже определенному шуму, как Вася тотчас насторожился. Пройдя еще немного вперед, он явственно различил теперь в небольшом овражке направо сдержанный смех и девичьи голоса, а вслед затем и увидал яркие пятна одежд.

Не успел он еще сообразить, кто бы это мог быть, как его окликнул знакомый (и такой веселый!) голос:

— Василий Ликсеич, идите-ка к нам: по орехи! А то мы и сами хотели зайти, да забоялись Кириллы Матвеича. . .

Душка стояла на склоне оврага, густо заросшего старой лещиной, и лицо ее, широкое, милое, было свежо, как верно был свеж и девственно зрел найденный ею орех, что так легко, с шелковым скрипом только что вылущился, точно родился, под большим ее пальцем. Обернулись и другие девушки и замахали Васе руками. Оне были одне, без ребят, обязывавших, по деревенскому кодексу, и

некоторой доле жеманства. Вася же был между ними чужой, не жених, не осудит, и в то же время был свой, немножко чудной, но веселый, каким успели узнать его за молотьбу.

И он замешался живо и просто в стайке этих нестрашных, на перебой щебечущих птиц. С большою открытостью и дружелюбием угощали оне Васю орехами все из тех же деликатных платочков, ставших вовсе уже шоколадными, и настаивали, чтобы взял непременно у каждой.

— Я столько и не соберу, чтобы отдать, — говорил с усмешкою Вася; странным образом и он не ощущал сейчас ни малейшей неловкости, — без парней и ему было легче и независимее.

Девицы протестовали: зачем отдавать, да и когда-то еще попадет он в деревню!..

Гранки хотя и висели еще кое-где на оголившихся ветках, но огромное большинство их уже посеяло плод, и орешки надобно было раздобывать под листвою. Вася умел теперь распознавать, была ли гранка с орехами, и знал, что надо глядеть внизу и под пустыми. Ютились орехи еще и у самых корней, где между стволами в торчащих, отмерших побегах было набито много опавшей листвы.

Все понемногу опять разбрелись, но Вася упорно держался Полюшки и время от времени перекидывался с нею словечком, надеясь спросить, наконец, и о вчерашнем.

— Почему это Душка сказала, что побоялись Кириллы Матвееча?

— А потому и забоялись... Насмех сказала, кто ж такого боится!

— А отчего тогда не зашли?

— А зачем заходить? Стало быть, знали и так, что вы тут окажетесь. Сердце сердцу, значит, кукушечкой весть подает.

Полюшка смеялась и глаза ее щурились с такою лукавой усмешкой, что Вася сказал:

— Чье же: мое или твое?

— Стало быть наше, — отвечала Полюшка дипломатично и повела головой по овражку.

Вася взглянул туда и увидел голубой сегодня Душкин платок, а когда, поглядев достаточно времени, обернулся назад, Полюшки уж не было возле.

— Ай, глядите-ка, девочки, белка!

Душка крикнула это так звонко и радостно, что, казалось бы, все должны были мигом сбежаться, но, к удивлению Васи, не отозвался никто; и никого кругом не было видно.

— Где белка? — спросил он, краснея и радуясь, что остался с Душкой один; хитрость девиц была теперь для него вне сомнения и это сначала немного смутило, но вслед затем весело он, через это смущение, как через легкий рокошующий брод, побежал к смотревшей на дерево девушке.

— Глядите, гляди!

Душка, не отрывая глаз, поймала его, за рукав, потом перехватила левою рукой за плечо, потом, притянув, немного пригнула и, наконец, посунув его перед собой, стала сама позади. Все эти движения следовали одно за другим с большой быст-

ротой. Теперь стояла она за наклонившимся Васей и, как бы слегка его обнимая, одною рукой все не отпускала плеча, другою же старалась ему показать прелестную белочку, сидевшую наискось на корявом дубовом суку с грациозной и чуткой настороженностью. Вася, по близорукости, никак не мог различить зверка, да и рад был не торопиться его увидеть... Душка близко дышала за ним, и дыхание это — он не только слышал его, но и с конкретною полнотою ощущал в легких, едва различимых ее прикосновениях... и было оно: тепло, свежесть и нега; и все эти три чудеснейших ощущения не смешивались между собою, но и оставаясь раздельными, были все же одно, и была еще в них своя, вместе с тем, полная жизнь, ибо это не был покой и не было состояние, а было движение, пульс, прилив и отлив, лоно какого-то моря, родившего некогда все сущее в мире...

Вася чувствовал это, словами не называя, а лишь сладко покорствуя изменчивым и пленительным колебаниям... Он не заметил момента, когда в глазах неслышимо вдруг у него поплыло и он перестал, так белочку очками и не поймав, видеть и самый дуб, на который глядел, и куски засиневшего неба, разорванные узловатыми сучьями и даже Душкину впереди себя загорелую руку. Может быть, это пена от волн, набежав, покрыла глаза, и когда, наконец, повернувшись, со слабой улыбкою уронил он руки на Душкины плечи и она под этим движением его не отшатнулась, он не поцеловал ее, а только, не видя, глядел и глядел, как слепой, обернувшийся к солнцу.

И она уже больше не смотрела на белку (разве теперь только эта резвунья сама насмешливо острым глазком метнула на них...); смутное, на секунду, волнение охватило и девушку, но поспешно, чтобы не дать себе испугаться, она рассмеялась Васе в лицо. И тотчас он увидел перед собою серые ясные глаза ее и смеющийся рот, зубы белели ровной двойной полосой; на щеках был рассыпан, слабо поблескивая, маленький бисер воды, упавшей с дерев. Не было чар, но было лучше, чем чары (так, по крайней мере, почувствовал Вася, очнувшись от своего первобытного, дорожденного бытия); Психея, душа, как и недавняя Васина грусть, расплылась тихою влажностью по перелескам, а белочка, милый, зверок — да, она была здесь, и Вася увидел, поймал ее, наконец... И так же легко и неизбежно, как упали на Душкины щеки капли воды и задетой орешины, наклонился и Вася и крепко поцеловал еще несомкнутый, влажный, еще смеющийся рот. Потом откинулся, не отпуская рук, поглядел (и, как в зеркале, счастливое лицо отражало счастливое...) и еще раз со всею жадностью молодости прижался к живому и сильному, до краев полному кровью, Душкину телу; а Душкино тело и душа ее, крепко девическая, были сейчас воедино.

О, никакого смущения и никакой, как в амбаре, неловкости! Спросите у ветра, смущается он, когда, пролетая над лесом, волнует сонмы листов; у вод, бегущих по руслу ручья, у зацветающих трав! О, как звонко и весело засмеются они на глупый этот вопрос!..

Как было дальше? Просто и хорошо, и необычайно легко. Пошли, помахали рукой, держащую руку, потом отпустили друг друга, и искание орехов, совместное, было как и подобает, деловитым и оживленным. И только еще разок, на прощанье, поцеловались коротеньким, счастливым, как бы с веселой укрادкою поцелуем.

И когда, поаукавшись, девицы собрались опять, а Вася простился со всеми «за ручку» и зашагал по лесу один, деревья ему по пути стояли ровесниками, невнятные их голоса звучали товарищески, и Васино счастье было повсюду,—и в нем самом, и в движении его между дерев, и в небе, повеселевшем влажной лазурью, и, в бархате мховых ковров по сторонам, и, особенно, в стройных этих и легких сквозных на поляну окошечках между стволами. . .

IX

Немного в лесу поплутав, круговую дальней дорогой пришел, наконец, Вася домой, и первый, кого он увидел, был Гришка. Он только что отпряг Красавчика и пристяжную золотисто-рыжую молодую кобылу, у которой за красоту ее было целых пять спорных имен, и теперь убрал в сарай хомут и шлею. Чуркин, бегавший Гришку встречать, в тайной, быть может, надежде встретить и Танечку, был явно невесел и предприятием своим разочарован; слабо, скорее из вежливости или собачьего долга, потершись изогнутым задом о мокрые Васины коленки, он даже не сделал попытки лизнуть его руку, а тотчас отошел и, крепко, с подчеркнутым пессимизмом прижав между ног корень хвоста поплелся домой.

Не веселей был и Гришка; и всегда был он угрюм, но сегодня едва отвечал на Васин вопрос о Кирилле Матвееиче, который, как оказалось, не приехал и со вторым, ростовским. Больше Гришка так ничего и не сказал и только белесые, едва обозна-

ченные брови его упрямо сдвигались и раздвигались над вдавленной короткою переносницей.

Васе ясно было, что вчерашнее его сватовство, как и предрекала Прасковья, не удалось. Впрочем, об этом можно бы было уже и в лесу догадаться. . . Но там как-то шло мимо житейски-реальное, и только сейчас Вася решил: да, конечно, иначе и быть не могло. И Гришки ему не было жаль; радость всегда немного эгоистична. То, что было в лесу, было опять, в сущности, мало понятно для Васи, но хорошее непонятное всегда кажется нам таким верным, нужным и радостным, и уже от этого одного — раз мило душе, то и понятно.

За обедом Вася был весел и разговорчив, так что даже Любовь Петровна взглянула на него с некоторым недоумением. Она, напротив, была печальна вдвойне и за Танечку, и по случаю неприяезда Кириллы Матвевича; последнее для нее имело особенный смысл, о котором Вася и не подозревал.

— Когда же дядюшка придет-то все таки? Вы, видно, правы: что-то он загулял. . .

— Придет когда-нибудь, — услышал Вася краткий ответ на вопрос, сделанный им с беззаботною легкостью, и в тоне Любви Петровны не был укрыт такой чуждый, вовсе несвойственный ей оттенок презрительной горечи; после обеда, она тотчас ушла к себе в комнату.

Все было Васе наперекор; продолжала чем-то быть недовольною даже Прасковья, пришедшая в дом после обеда, и Васе едва удалось ее расшевелить, прибегнув для этого к маленькой хитрости; он завел разговор опять о вчерашней змее.

— Ай интересно тебе показалось? — спросила Прасковья, поначалу весьма недоверчиво, но скоро потом разошлась. — Коли охота, так слушай. Ну, стало быть, это... как я говорила — прямо в живот, там приютилась. Ну, к бабке его, человека этого, как полагается. А бабка так насоветовала: иди, говорит, на то самое место, где и был, и поставь ты перед собой ягод тарелку и налей туда молока: она на ягодный дух не иначе, как должна таки вылезть. Так все и сделали. Народ стоит за кустами, глядит, чтобы, дескать, и не шелохнуться. А человек тот лежит и орет; змея из нутра лезет на ягоды. Часа, знать, два али три так промаялся. Ну, показалась головка... вылезла. Тут это гомон поднялся, кричат ему: «Вылезла, вылезла! Подымайся скорей!» А ему и не в моготу. Змея слышит: кричат, да назад... прижилась, видно, там, понравилось ей. И кидается, Боже ты мой, куда зря, путь потеряла. И все ж таки три дни пожил тот человек и Богу душу отдал. Истинно так, верные люди передавали.

— А змея как же?

— Да что ж змея? Убили, конечно. И сколько же крови из нее вышло, матушки-светы! Так и льется, и льется ручьем... Напилась, видно, уволю..

Определенно был неприятен Васе этот рассказ; он пожалел, что попросил докончить его. Смеркалось, и сумерки от паутины ползли по углам. Вышла Любовь Петровна из спальни и Вася прилег на диванчик в углу, рассеянно вникая в обычный между женщинами хозяйственный разговор, но конец его довелось уже слушать иначе...

— Так что ж, поладили, значит теперь уж и стирать не придет? — услышал он голос Любви Петровны.

— Ну, стало быть, что так. Невеста, видишь теперь.

— Дура она. Да еще верно ли это?

— И Гришка сам мне сказал, вот как приехал. Все подтвердил. Только и он не веселый какой! — Прасковья теперь говорила пониженно, с оттенком таинственности.

— Отчего?

— Ребята смеются. «Ты, говорят, что — для отца что ль молодайку берешь»?

— Тьфу ты, Господи, гадость! — сухо отплюнула Любовь Петровна, а Прасковья зашептала с удвоенным одушевлением.

— И истинно верно, я вам скажу. Это такой, прости Господи, идол... И, поглядите-ка, кто из них больше жених? Гришка-что? Мразь! Плевком, как говорится, перешибешь, а ведь этот чорт — здоровенный, ну истинный идол из преисподней... И уж про него это известно... все говорят... И малый-то наш... приехал, не жрамши, и за стол не сел, прямо на печку... разволновался. Плачет, знать, я уж ушла, а вчера, Митюшка наш сказывал, на парней будто бы в драку...

— Да Душка-то что ж? Разве она ничего и не знает?

— Да то и Душка... Девка как девка. Поладили с матерью, стало быть слушайся...

«Неправда, неправда»!.. Васе хотелось вскочить и закричать, затопать ногами, но он лежал недви-

жим, как если бы сон свинцом налил ему ноги. Он слушал и холодел. «Неправда! Она была весела! Этого не было! Душка любит меня»...

— Ну, Душка не знает, а мать, с ума что ль сошла?

— Знать, сошла, да не вовсе. Видите, я вам скажу... — Шопот Прасковьи был теперь еще и иной: по-деловому заинтересованный и что-то словно бы понимающий. — Шут-то этот рябой, прости меня Господи, с козырем, значит, приехал. Раньше таил, а тут будто открыл...

— С каким еще козырем?

— А вот я вам объясню. Ездил он, значит, на шахты, а там у него браток, старшой. И как уж там было у них, не знаю доподлинно, но только землю ему, видишь ты, подписал, брат-то Ипатов, в вечную собственность... на две души, и бумагу с печатью этот вчера пред'явил.

Любовь Петровна молчала, ибо в тоне Прасковьиных слов: «земля» и «вечная собственность» слышалось явственно то, против чего возражать бесполезно. Прасковья тотчас поняла, однако, молчаливое это неодобрение и, ища что-нибудь примирительное, уже громче и несколько официальной докончила:

— В нашем быту, милая барыня, все так то. О чем прочем лучше ничего и не спрашивай. За двадцать стукнуло девке, — уж знать засиделась, пора и пора! Да и то сказать, может и зря много болтают, всего не поймешь.

— Я завтра пойду сама с матерью поговорю. Я не позволю этого! — сказала вдруг громко, вол-

нуясь, Любовь Петровна и даже стукнула сухонькой ручкой о стол. — Эх, Кириллы Матвеича нет, — добавила она уже тише — тоже на старости лет.. нечего сказать, хорошо себя соблюдает... И она опустила на лавку.

Вася вскочил с дивана и сел; от волнения он не мог сразу встать на ноги; слезы блистали на глазах его. Невыносимый кошмар, наконец, был разрушен и разбудила его Люба — белая голуба.

— О милая, милая... — частым, взволнованным шопотом повторил он несколько раз, — да, да! И я пойду с вами...

Он быстро поднялся и подбежал, немного ее испугав, к сидевшей старушке, с жаром поцеловал сухонькую руку ее, ту самую, что ударила о стол, потом опустился на пол и, зарывшись в ее, сырою свеклою пахнущем фартуке, дал, наконец, волю слезам, повторяя одну только фразу:

И я с вами... да, да... милая, милая... тетя...

Бог знает, что делалось в эту минуту в Любимом сердце; она с нежною лаской гладила голову мальчика, и сейчас, точно все другое смело, слышал только это последнее слово, в нем было нежданное, такое дорогое, бесценное признание чего-то в ней, какого-то права: тетя!..

Прасковья глядела на них, потом поднесла к глазам грязный свой фартук, хмыкнула носом и, повернувшись ушла.

Вася уснул в эту ночь в нервно приподнятом, но действенном настроении. Однако, сон его был снова тяжел; он охал, вздыхал, делал беспокойные попытки движений, но оне беспомощно замирали,

и пробудиться он долго не мог. Снилось ему, что он в длинном и душном сарае, ищет выхода и не может найти; вспоминается змея, залезшая в человека, и его тошнит, руки и ноги слабеют. И вдруг слышит веселый Душкин смех, совсем близко, бежит туда, хватаясь руками за сено. Но это не сено, а пыль, осевшая на паутине; все пространство впереди его заткано паутиной; он рвет руки и тонет в ней, кричит и голоса не слышно. И вот видит, в углу барахтаются в борьбе два пыльные демона: один худой и искалеченный, припадающий на ногу, другой огромный и толстый. Оба скалили зубы, кусались и рвали друг на друге куски; зрелище было омерзительное. Душкин смех вдруг замолк и Вася понял, кто был перед ним. Он кинулся, не раздумывая, прямо перед собою и, преодолевая отвращение, старался свалить их обоих. Тогда, забыв междоусобие, оба серые демона накинулись вместе на Васю и началась долгая, мучительная борьба. Васе казалось не раз, что он задыхается под навалившимися на него отвратительными телами, но он делал усилие, вывертывался, и борьба продолжалась. Вдруг он увидел, скорее почувствовал, Душку рядом с собой, и в руках у нее был нож. Что было дальше, осталось закрыто, ибо вслед затем произошла перемена. Повеяло воздухом, и он внезапно увидел себя в комнате Танечки; окно было открыто в сад и легонько тянуло прохладой. Танечка лежала бледная, беленькая, но веселая, она куталась в одеяло, улыбалась ему и говорила: «Это ничего, ты обо мне не плачь, все хорошо.»

Когда Вася проснулся, он лежал непокрытый и ногам было холодно; сброшенное одеяло фантастическим беспомощным существом, поверженное в борьбе, лежало на полу. В свете раннего утра различил еще Вася всюду осевшую копоть и вспомнил, что лампу он, ложась, забыл потушить. Вася посмотрел вокруг полудремотно, поднял одеяло, укрылся и снова уснул.

Х

Вместо того, чтобы пойти самой на деревню, Любовь Петровна сочла за лучшее пригласить Душкину мать к себе, а с Прасковьей, посланной на село, пошел и Вася. Так, может быть, и для него было удобнее, он рассчитывал Душку увидеть одну и высказать ей все, что томило; он теперь отчетливо знал, что именно. Непроизвольно, в этой ночной борьбе своей, несмотря на гнетущее о ней воспоминание, он еще точно бы вырос и возмужал. Мысли его по необычному были тверды и ясны.

— И напрасно барыня это уздумала, — говорила, между тем, в раздумьи Прасковья, пока они шли мимо сада.

День был ясный, просторный и четкий; острые облака бродили по вышине, внизу похрустывала подсушенная морозом трава, а в тени, как на гравюре, сделанной тонким пером, стояли в серебряных завитках отдельные стебли полыни и зонтичных, и была вокруг та предельная тишина, в которой душа не страшится быть сама собою.

— Напрасно, я говорю, барчук. Дело изделано и мешаться тут не для чего. Что к худу и что к добру, нам не судить, а только обида большая произойдет, это действительно.

Вася молчал. Он думал теперь не о том объяснении, что предстояло там, на барском дворе, а о своей встрече с Душкой. Ни в чьи дела он не вмешивался, у него свое дело.

Душка жила на окраине; немного поодаль села, на отлете, стояло несколько темных, низеньких хат, и Прасковья ему указала на третью. На улицах было пустынно, не было видно даже собак. Кроме уток и кур, забавно насупившись, с обрывком веревки на шее, глядел, остановясь, на подходивших только один поросенок; стоял он упористо, следя и ожидая с недружелюбием незнакомых людей, на коротких своих толстеньких ножках, но сразу вдруг струсил, круто почти перевернулся и опрометью побежал через выгон к реке.

— Ишь шелудивый! — с почти материнскою нежностью засмеялась Прасковья. — Ноги-то как подлец не забыл!

Изба Душкина была как безлюдная, и через низкие темные окна никого не было видно. Пред порогом у входа лежал традиционный большой камень-валун, а в сенях, узких и темных, свалена была веревочная сбруя, мешок с картошкой и две пары лаптей.

— Или в холодной сидят, — сказала Прасковья, но все же направилась на теплую половину, направо.

Вася переступил порог и снял шапку. В перед-

нем углу слепо глядели в киоте несколько старых, почерневших от дыма икон. Оне не были в ризах, но разноцветные бумажные цветы, сделанные все под георгины, украшали их; в обе стороны полки над лавками, равно как и киот внизу, также были оклеены цветною, опускавшеюся книзу бумажною бахромой; стол посередине аккуратно накрыт домашнею тканевою скатерткой; наконец, пространство налево, между русскою печью и дверью, задернуто цветным ситцевым пологом.

— Кто там? — спросил голос из за занавески.

— По твою мать пришли, Любовь Петровна к себе ее требуют, — отвечала Прасковья; она стояла в дверях, как солдат, высокая и четырехугольная.

— Прасковьячка, ты?

Занавеска раздвинулась, и Душка, в новенькой кофте, вышла к гостям. Увидев и Васю, она словно ничуть не удивилась, протянула руку и сказала: «присядьте».

— Ты что ж это там от людей схоронилась? — спросила Прасковья, посмеиваясь.

— Гостей ждем с мамашей, — ответила Душка. Может, она еще и успеет сходить, коли не надолго. Она на дворе.

— Я здесь посижу, подожду, — заявил Вася, когда Прасковья, поговорив, пошла через сени на двор к Душкиной матери.

Вася понимал, конечно, что он делает большую неловкость, оставаясь с Душкой наедине, но ему было теперь не до деревенских приличий. Прас-

ковья, как истинный дипломат, ничего при этом не проявила, даже сказала, уходя:

— Мы, может, там прямо задами и пробежим.

— Я к тебе пришел, — начал Вася, не замечая даже, что говорит на ты. — Ты, говорят, замуж выходишь?

Душка не отвечала и, опустив глаза, спокойно дышала; на лице ее ничего нельзя было прочесть. Вася сидел на лавке, а она стояла недалеко от стола.

— Ну, скажи же мне, правда? — Вася протянул к ней руки и она слабо подала одну из своих; Вася придвинулся к ней: — Ты ничего не говоришь, стало быть правда.

— Не нужно, барчук, — сказала Душка одними губами.

— Как не нужно? — Вася вскочил и положил обе руки на плечи девушки, как тогда, в лесу; и, как тогда же, она не отодвинулась, только легонько скрипнул стол под ее левой рукой да примялась скатерть с угла. — Душка, ведь я же тебя... ведь мы любим друг друга!

— Не нужно, барчук! — опять так же тихо промолвила Душка.

— Не называй меня так! Я не барчук, я Вася — твой, я люблю тебя. Откажись!

Душка медленно повела головой.

— Пустите меня, — сказала она — нехорошо.

— Ты думаешь, что я так... что я мальчик... Душка, послушай, а ты... разве не любишь?

Девушка, вместо ответа, взглянула на него открыто и широко, и в серых ясных глазах ее, вдруг

слегка затуманенных, Вася прочел ответ — и жданный и неожиданный...

— Ну, а тогда все хорошо, все хорошо! — воскликнул он в радостном возбуждении и притянул Душку к себе.

Она стояла в объятиях его неподвижною, но вдруг задышала, слабея, часто и тяжело, и сама опустилась на лавку, а Вася совсем как перед барышнею, стал перед ней на колени.

— Пол-то грязный, — сказала Душка застенчиво и не могла, в то же время, не улыбнуться.

Вася восторженно ответил на эту ее улыбку; лицо его светилось радостью и очки, поднявшись с одной стороны, косою линией пересекали Васин висок.

— Ничего, ничего... — быстро зашептал он. — Видишь, как все хорошо. Будет и свадьба, но наша, да? Вот придет твоя мать, мы и об'явимся, да? Душка, слушай, я буду работать, я сильный. Дядя нам даст немного земли. Ах, как я люблю тебя, а ты? так же любишь, как я?

Вася долго еще говорил, не замечая то жалостливой, а то порою и горько суровой полуулыбки на ее лице.

— Встаньте, — сказала она, наконец, — кто-то к дому под'ехал, нехорошо.

Вася поднялся, обиженный и изумленный.

— Голубчик вы мой, миленький, миленький... — заговорила, наконец, также поднявшись, и Душка, — забудьте об этом. Это нельзя. — Она осторожно тронула его волосы и взяла Васину руку, крепко ее пожимая крепкими своими, рабочими

пальцами. — Ручка-то какая беленькая, как у барышни, — сказала она и глубоко, прощально вздохнула. — Ну вот и все стало быть. И хоть были минуточки наши...

— Душка, послушай, но почему-же минуточки?

— А я всегда тебя буду любить, — закончила Душка — и под венцом буду стоять, тебя вспомяну.

— Так ты не хочешь? не веришь?

— Вы барин, — ответила Душка и отошла к дверям.

В сени кто-то вошел. Вася хотел еще говорить — возражать, спорить, просить, но вместо того и он оправил рубашку и стал подальше, к углу, где образа.

— А у нас сидит гость, — встретила Душка вошедших. — Барчук за матушкой заходил, а Прасковья за нею на двор пошла.

Первым подошел поздороваться к Васе Гаврюшка, Душкин брат. Он был черномаз, строен и походил на цыгана; коричневые глаза его блистали большим оживлением.

— Здравствуйте, Василий Ликсеич, — сказал он, пожимая Васину руку, — а мы ездили земельку смотреть, дарственную. У-у... хороша земля! — он покрутил головой. — Вы ружьишком не балуетесь, а то какнибудь вместе прошлись бы по холмодку...

Вася слушал его и невольно следил движения Душки; они были размеренны, спокойны, но было в них и словно бы нечто покорное. Пока Гришкин отец молча развязывал красную свою подпояску,

она также молча стояла невдалеке, к Васе спиною; когда же толстый и крепкий, чернобородый мужик, размявшись, стал скидывать свою свиту, Душка ему помогла и сама повесила ее на гвоздь между дверями и занавеской; Вася заметил даже, как она аккуратно рукою оправила складки. Потом она отошла к столу и также заботливо тронула скатерть.

Гришкин отец достал из кармана красный платок и преждевсего обтер отпотевшую бороду. Потом свернул его, положил обратно в карман, и только тогда подошел поздороваться к Васе. Лицо у него было широкое, и неожиданно добродушное, так же простодушно глядели и глаза из под густых бровей, маленькие и живые; с Гришкою не было ни малейшего сходства.

— Из экономии будете? — спросили он. — Гришка мой там. Скоро возьму, пусть приучается к дому. А то нехай послужит еще? — воскликнул он вдруг, с живостью обернувшись в сторону Душки, и весело рассмеялся. — Вот что, Гаврила Гаврилыч, — опять перешел он в степенный и деловой тон. — В телеге-то там...

— Я сейчас сама принесу — быстро за брата ответила Душка и вышла.

— А вы куда ж, молодой человек? Посидите, отведайте хлеба и соли.

— Я не у вас в гостях, — резко ответил Вася и, пожав Гаврюшкину руку, быстро вышел, минуя Ипата.

Ему было тяжело невыносимо; слезы, гнев и досада душили его. Быстро пройдя через сени, он

с порога увидел телегу с еще неотпряженной лошастью, но Душки не было возле нее. Он обернулся назад и вдруг узнал фигуру девушки в дальнем углу сеней, у двери на двор. Душка стояла, прислонившись к стене, и плакала; плечи ее подымались.

Вася быстро к ней подошел и тронул у локтя. Тогда, не глядя, она обняла его обеими руками и тяжело поникла на грудь. Потом быстро обтерла лицо рукавом и стала целовать Васю — в щеки, глаза, губы, очки. . .

— Милый, милый ты мой, голубчик ты мой си-зокрылый, прощай, прощай! Только и было солнышко раз, а теперь, видно, прощай. . . с горячею нежностью причитала она, все целуя и плача.

Вася сдержался, чтобы самому не разрыдаться, он собрал все свои силы, и, взяв Душку за руки, сказал ей хриплым от волнения голосом:

— Душка, послушай, а ты знаешь, что про него говорят?

— Знаю, — ответила она твердо, и глаза ее стали сухи, — но вот Христом Богом клянусь, ежели что — убью.

За минуту до того целовавшие, нежные губы Душкины были теперь сжаты и тверды; девушка стояла в полутьме перед Васею точно выросшая.

— Ну идите, — сказала она и, еще раз притянув Васину голову, спокойно и крепко его поцеловала; что-то каменное теперь было в ней и в самом прощальном ее поцелуе.

Вася, покорный, вышел, и шаги его были тяжелы. Когда он обернулся при повороте на главную улицу, то увидел телегу и Душку над ней; он по-

стоял, подождал, но она в его сторону не обернулась.

Уже недалеко от дома заметил Вася и Душкину мать, торопливо бежавшую к себе домой. Он инстинктивно почувствовал, что и Любовь Петровна не имела успеха, и ему не захотелось встречаться. Ах, еще есть на свете убежище — сад!..

Вернувшись домой, Вася прошел прямо к себе и накинул на двери крючек.

В этот же вечер вернулся из города, на нанятых лошадях, и Кирилла Матвееч; вид его был весьма виноватый, и он делал большие усилия, чтобы раз'яснить возможно правдоподобнее свое запоздание. Не раз при этом он путался в своих довольно несвязных рассказах, но особенно тягостными выходили они потому, что никто об этом его, в сущности, и не расспрашивал. Под конец, когда Кирилла Матвееч замолк, Любовь Петровна спросила о Танечке.

— Танечка не весела, — коротко ответил Кирилла Матвееч. — Плакала, домой все просилась. Такая ей это каждый раз мука.

Вася сидел, сильно наморщившись: о как раз но обертывалась жизнь перед ним и какое есть у нее еще другое лицо! Когда началось это? Трудно понять. Не с деревянной ли пляски парней?

И все замолчали; самовар стоял на столе полугасший, Чуркин жалобно скулил у балкона; и в самом молчании и в коротких перед тем о Танечке словах этого старика, такого веселого всегда хлопотуна, а теперь сидевшего столь виноватым и

жалким, как-то сама собою истаяла вся вина его; что то необходимо в ней стало понятным, да и никаких, в сущности, не было вин: ни его, ни вообще, и была разве одна вина, общая всем и неизбежная, да и то не вина, а просто жизнь человеческая с ее неистребимой нескладицей; или слабостью; может быть, глупостью даже; или и вовсе не так, а с ее холодно кем-то и со стороны — предначертанной роковою суровостью...

XI

Дни шли, между тем, своим чередом. Вася хотел много раз уезжать, но все оставался; уезжать было некуда.

Жизнь в Никольском давно снова неладилась. Дядя Кирилла Матвеич попрежнему был весел и хлопотал неустанно в доме и по хозяйству, по прежнему Любовь Петровна стряпала вкусные вещи. Васю полюбили оба старика от души и баловали его, как маленького, изливая на него всю ту неизбывную нежность, что томила сердца их по милому ребенку Танечке. Танечка изредка писала — и им, и Васе, но за последнее время что-то замолкла совсем.

Шло все обычным, из года в год повторным порядком и на селе. Там, за садом и выгоном, куда вовсе Вася теперь не заглядывал, но вести откуда проникали через Прасковью, за последние шесть недель произошло не мело очередных событий: похоронили деда Кугукина (известного пасечника и колдуна), дядю Антона (хромого и по прозвищу

«полутораженца») задавило машиной на шахты уехали трое братьев Ермилиных (лучшие на селе гармонисты и плясуны); свадеб сыграли четыре (две молодайки прибавились и двумя девицами ubyло; из ннх одна Серафимка, обогнавшая Душку, всегдашняя ее соперница), а у тетки Федосьи (глухой) появился ребенок неизвестного происхождения, — была тетка Федосья уже одиннадцать лет вдова. Много было по этому последнему поводу смеху и разговоров, но еще того больше неожиданных дружелюбия и внимательности к бедной вдове, словно зажгли в глухой избе ее свечечку и к тому огоньку льнули невольно: и ласковый при случае разговор, и кое в чем по дому услуга, а то и скромные под вечер приношения: то крупец, то коровьего масла, то щепотку в тряпочке чаю.

Вася душою переболел за долгие эти дни и ко многому теперь относился спокойнее, но над переносицей продольные легли две морщинки, и стал заметно он молчаливее, больше сидел у себя, чаще и подолгу рылся в полном старыми книгами дедовском сундуке. Да и то сказать, и на дворе было не весело. Глухая стояла пора. Глухая, но не слепая, однако: неизменно любил выходить Вася в сад и научился любить осенние поздние краски. Была еще большая лиловость во всем, матовая и заглушенная, но с тысячью живых и мягких оттенков; порою все утопало в волнистом тумане цвета сильно снятого (из под сепаратора) молока, и только там, где еще плотнее была перламутрово сизая его густота, можно было отгадать скрытые им предметы или животных. Чуркин сильно осунулся в

эту осень, может быть, простудился, втянулись бока и отросшая шерсть сбивалась в комки по обе стороны когда-то упругого, ныне больного и понуро опущенного хвоста. Иногда Вася брал и его с собою в лес, и когда денек выдавался ясно-морозный или шел пока еще редкий, с редким рассеянным шумом упавший на ветви снег, Чуркин подтягивался; Вася, остановясь, садился на корточки, гладил его по спине, и от Чуркина шло тепло.

Была в лесу темная та же лиловость, а когда пепельно-розовое небо раннего вечера светило между стволов, на все вокруг ложился живой и прелестный оттенок: как легкие сны ушедшей глубоко под землю растительной силы, как бледный румянец — напоминание жизни — на холодном теле уснувшей. Вася вздыхал тогда и, достав папиросу, курил ее медленно в странной забывчивости.

В одну из таких дальних прогулок Вася встретился с Душкиным братом, Гаврилой Гаврилычем; беззаботная головушка эта понравился Васе: вот кто был дома в лесу больше, чем дома! Со стареньким, еще кремневой системы, ружьишком бродил он с утра до позднего вечера и знал наизусть каждый овражек. С Душкойю внешнего сходства в нем не было, но голос был тот-же, грудной, не громкий и полный. В коротеньком с ним разговоре Вася узнал, что Душкина свадьба будет через две недели после Покрова.

Теперь этот срок близился. И вот однажды, когда сидели все за вечерним, длительным самоваром а за стенами валил густой уже снег, похожий у

окон на мешковатые стаи сумеречных кружащих бабочек, бьющих в стекло на огонь, прибежала из кухни Прасковья и, оживленная, предупредила о том, что придут сегодня сваты — господ звать на Душкину свадьбу; она сама только вернулась оттуда.

— Гаврика видела, — торопясь, говорила она. — Веселый, пьяный-распьянный, вот истинный Бог! Бегаёт все, суетится, чулан у себя вот как разбрил, гостям чтобы спать, заботный такой, хоть бы всегда этаким был. Уж не чаёт, знать, как и день пропихнуть. Этот, да завтрашний ещё.

— Как, а свадьба после завтрава что ль? — спросил Кирилла Матвеич. — Разве уж оглашали?

— У-гу, уж два воскресенья, наполовину уж оглушили. Барчуку-то вот интересно б поехать. И Душка, знать-что, просила его... Весело, барчук, поезжайте. Интересно. Невеста с женихом, стало быть, будут на вышке сидеть, а мы на полу — поезжане.

— Как так на полу, а те на потолке что ль? — притворно, больше для Васи, пошутил Кирилла Матвеич.

— Да что вы, Кирилла Матвеич, ну вот, как у Свиридона, помост, стало быть, для князя с княгиней, а мы за столом, честь честью, как следует пировать будем.

— Это Гришка-то князь! — рассмеялся Кирилла Матвеич, — Вася, поедешь?

— Нет, не хочу.

И Вася, конечно бы, ни на какие торжества не пошел, но пока под'ехали несколько позже прямо

к балкону, на розвальнях и с бубенцами, сваты и дружки с полотенцами через плечо и начался по старинке, с присловьями и убеждениями, обряд приглашения, Вася имел еще время подумать; терпкая горечь опять забродила в нем и захотелось испить чашу до дна.

Два эти дня: пир у невесты и жениха, толкотня за столом, угощение, говор и теснота, сплюснутые лбы и носы навалившихся с улицы в окна мальчишек, пар от дыхания и от горячего кушанья, запах водки и табака, и отсыревших тел и одежд — все это было кошмарно, дико, бессвязно. Васю сажали, как важного гостя, под образа, давали ему даже тарелку и вилку (но без ножа), усиленно угощали, и он принимал участие во всех церемониях: клал бабушке на кашу, платил за величанья, принимал в дар полотенца, отдаривал, но делал все это почти механически; на него было устремлено не мало глаз любопытствующих, но он их не замечал.

Скупое и почти недоброжелательно следил Вася обряды, сменявшие один другой издревле predetermined чередой, не вдохнул в них поэзию живой, дошедшей до нас старины, а если и воспринималась она, то с дикой ее, трагической стороны.

Но что он видеть не переставал, и не только видеть, а ощущать всей совокупностью чувств, это была она — Душка, невеста, княгиня. Он отделял ее от кошмара, сопутствующего ей, и, странно, точно бы не было для нее ни давки и тесноты, ни тяжелого воздуха, ни гула крепких речей; движения ее были (или так Васе казалось) легки и свободны,

взгляд ясен, дыхание не стеснено. Кто же она? что? — Вася быстро и сильно пьянел и с непривычки, и от убийственного чередования водок: зеленой и красной — кто же она? или и вправду душа — пленная в жизни, но вечно свободная?

С Васею Душка была очень проста и мила; ничего особенного она ему не сказала, но в каждом движении ее, к нему обращенном, в слове, во взгляде была такая открытая ясность и... благодарность.

Полюшка успела Васе шепнуть: «Вот радость-то, что вы тут, а то Душка все убивалась, что вы в обиде и не пойдете, так в полотенце и плакала (Васе припомнилось, что и Полюшка сама, прощаясь с подругой, рыдала навзрыд). Мамаша ее будто бы круто с Любовью Петровной поговорила». Но Вася чувствовал сердцем благодарность невесты и за другое, он помнил: «минуточки наши...» и у него ныла в груди такая острая нежность и так точили воды ее, что рухнуть бы снежному кому и изойти, растаять в слезах... Но он сидел твердо и прямо, и рассудительно отвечал на вопросы соседей. Он видел все и не мог ничем себя проявить, точно был зачарованный. Вскочить бы на лавку, на стол, и закричать, махая руками, чтобы спугнуть и прогнать и эту птичью громаду, чтобы в трубу, один за другим, туда, где запева ла песни метель, и в окна и в двери хлынула вся эта плотно осевшая чернота; и, распугав, найти, как тогда в лесу, как орешек, как белочку, Душку — свою, одну. Но не было сил для этого подвига, была вместо них, напротив того, неподвижность, было одно созерцание злой, века-

ми длящейся сказки, открытой непостижимо, но и в нем зачаровавшей всякое действие.

Обряд венчания произведен был вечером, уже у себя на селе; ремонт был недавно закончен. В церкви было холодно и полутемно; новый иконостас из под свежего лака выглядел мертвым лубком; за решетками окон гудела непогода, ветер крепчал и рвал листы ржавого железа на крыше; гулкие и странно пустые раздавались слова священника и дьячка, теряясь порою в завываниях ветра, точно таинство брака совершалось не в церкви, а далеко от жилья, в поле, открытом ветрам, и под хлопья метели; под ногами холодными пятнами лежал растаявший снег.

Две пары глаз остались в памяти Васи. Стоя неподалеку от Душки, почувствовал он вдруг позади себя пристальный взгляд и, тяжело обернувшись, увидел Ипата. Вася как-то о нем позабыл: и за столами, и в переездах сливался Гришкин отец с другими такими же, и был он, в конце концов, вовсе ничем не замечателен, но сейчас лицо его показалось Васе странно зловещим; конечно, падал так свет, что скрадывал щеки в тени и выдвигал одне только скулы, темным горбом между глаз чернел грубо отесанный нос, а в самых глазах стояла тяжелая и каменная, неподвижная усмешка. Помедлив немного, черный мужик перекрестился, крепко кладя свои короткие пальцы, но взгляд его глаз не изменился, и самое крестное знамение, им совершенное, почудилось Васе темным и злым, колдовским.

И какая, Боже мой, до чего иная! — страна от-

крылась для Васи, когда под звуки ликующего Исаии, исполненные довольно таки хриплым дуэтом, увидел Вася венчанную голову девушки: в глазах еебыла радость, свобода; мягкое сияние излучали они. . . — кто же она? . . И когда невеста одними ресницами кивнула ему, Вася принял это как знак: «и под венцом буду стоять, тебя вспомяну».

Вася в этот момент почувствовал, что старые церковные стены заколебались, пол стал уплывать из под ног — медленно, и бесшумно а между корявыми ветками дуба глянула вечная просинь небес.

Он не понял, что это он сам пошатнулся; он не знал и того, что горел в нем сжигающий хмель, и что опьянение это было двойное: и от вина, и от крайнего напряжения сил; у Васи был жар. И все, что он видел, он видел поэтому также в двойном преломлении: и длинную цепь механически связанных действий, к нему как бы вовсе не относящихся, и то, что было за ними — душу событий.

После венчанья Вася сел в сани, где на передке был Гаврюшка, задумавший самолично перед «княжим» обедом его прокатить. Он лихо промчался вдоль по селу, звеня бубенцами и озорно, по цыгански подщелкивая языком в перемежку с гортанными выкриками. Но ему показалось этого мало, и Гаврюшка, стоя, крутым поворотом возжей, свернул лошадей в переулок, чтобы, пробравшись задом, еще раз, вслед затем, развернуть свою удаль. Горячность и нетерпение подымали его и он даже встал над козлами — высокий и статный, немного разбойничий; он и здесь, по целине, гнал лошадей.

Ветер переменялся, грубо рвал бубенцы и бил теперь прямо в лицо; хлопья мокрого снега лепили глаза; разноцветные ленты, вплетенные в гриву и сбрую, тонули в снежных потемках и только странно косматили лошадиные спины, и точно уже были это не лошади, а чудом ожившие звери очень давних эпох.

В ногах, на подоле Васиной шубы (Кирилла Матвееч дал ему старый енот), сидел мальчуган, ездивший в церковь с невестиными образами; иконы были завернуты в полотенце и лежали с ним рядом у ног Васиной спутницы, Гришкиной тетки; как ее звали, Вася не знал. На вид ей было между сорока и пятьюдесятью; скуластое широкое лицо ее было красно и от вина, и от ветра, глаза были маленькие, глубоко посаженные, брови неровно уползали на лоб. Поддевку свою она расстегнула, и яркая кофта ее, малиновая, и в полутьме была в глаза. Она сидела, покачиваясь, закрывала глаза и улыбалась; зубы ее остро торчали наружу. Иногда она что-то говорила, но слов нельзя было разобрать.

Гаврюшка вдруг обернулся и кинул мальчику коротко:

— А иконы-то целы? Гляди!..

— Э, что иконы! — воскликнула баба цинически, закрутив головой, и наступила ногою на полотенце. — Придет, милый мой, время, и боги там наверху в черепки полетят! — И она засмеялась, привстала и, полуобняв на козлах Гаврюшку, гикнула дико на лошадей; полы поддевки ее разлетелись и ударили Васю в лицо.

Сани опять понеслись, а баба стояла, наклонившись вперед, летящая, точно сама была вихрем, сметающим там, где-то, богов.

Мальчик в испуге прижался к Васиным коленям и потихоньку рукою пытался вытянуть полотенце, но женщина в кофте, будто в ответ на это движение, густо причмокнула ртом и переступила; Вася услышал слабый треск дерева, сердце его забилося неровно, дрогнули руки. Он отстранил от себя мальчугана и, приподнявшись, схватил бабу за плечи, но, не удержавшись, увлек ее за собой и грохнулся опять на сиденье. Теперь страшное это лицо было вовсе близко от Васи, и он с омерзением видел кривые и черные, веером раскинутые зубы; они вылезали из пасти ее прямо на Васю; сама она тяжело и неохотно, словно бы медля, скользила с колен рядом с ним; и невыносимей всего было ощущение тепла ее толстых, коротких и отвратительных ног. Вася сжал кулаки и изо всей силы толкнул ее прочь от себя. «Стой! Стой!» — закричал он Гаврюшке, но, не ожидая, пока тот сдержал разгорячившихся лошадей, перекинул ноги зе грядку, ткнулся лицом в холодный сугроб, встал и побежал прямо по снегу, путаясь в шубе, отплевываясь, точно и самыми губами прикоснулся к чему-то поганому. . .

Он слышал зовы и крики Гаврюшки, но бежал от них, как от чумы, и только почти у самого дома стал понемногу приходить в себя.

На дворе какое-то было движение, у конюшни стоял человек с фонарем, и в комнатах дома свет во всех окнах. Видимо, что-то случилось. Вася

быстро поднялся по запущенным, снежным ступенькам балкона и застучал в обитую по зимнему дверь, забыв о звонке.

Отворили ему не сразу, и первое, что бросилось Вase в глаза, была Танечкина мокрая шубка, оставленная в передней на сундуке, и синяя ее вязанная шапочка. Из дальних комнат доносились голоса радостные и, одновременно, встревоженные. Быстро скинул шубу и он, и побежал через столовую, натолкнувшись по пути на отодвинутую наискось лавку. Очки его запотели, он снял их и стал на ходу протирать.

— Кириллa Матвeич, спирт там в буфете, ножки ей разотрем, да скорее за доктором... услышал он голос Любoви Петровны и невольно остановился.

Кириллa Матвeич вышел тотчас; клок седых волос его надо лбом торчал тревожно, и выбившаяся из-под мягких манжет цветная рубашка довершала его совершенно растерянный вид.

— Танечка... — заговорил он быстро и на ходу. — Тебе сказали? Убежала из института... с прогулки. И прямо на вокзал и сюда... Где же тут спирт? Подвинь-ка, я влезу. Лошадей наняла, но простудилась жестоко... жар... вся горит. В эту-то метель...

— Можно мне к ней? — спросил Вася, и голос его зазвенел; с невероятной быстротой, убегали в воронку грязные воды, стремительно убегало и исчезало все, только что было; голова его быстро свежела и было несколько страшно от этого ощущения.

— Можно, она узнает.

В спальни Любови Петровны, где уложили наскоро Танечку, было полутемно; лампу заставили раздвинутой книгой, но свет падал ярким пятном на кресло ближе к комоду, и лежало на нем зеленое институтское платье. Васе вдруг вспомнились слова Кириллы Матвееича, на другой день после приезда: «Оне там все, как пасхальные яички, крашенные...» Но Танечка лежала уже раздетая и беленькая, как тогда, во сне... Рассеянная улыбка бродила по милому лицу ее, и навстречу брату она сделала легкое движение рукой.

Вася наклонился к ней и осторожно ее поцеловал; лоб ее и дыхание были жарки, сквозь нежную кожу виска проступала явственно сеть жилок.

— Ну вот я и дома. Совсем, — прошептала она Баес в лицо и закрыла глаза.

Любовь Петровна сделала ему знак отойти и он сел на кресло, возле того, на котором так и оставалось кинутое зеленое платье.

Там он и просидел всю эту ночь. Не ложился, впрочем, никто. Доктора не застали в больнице, и приходилось ждать до утра. Танечка ночью металась в жару и горела как свечка.

Вася сидел и думал, думал... как еще никогда. Время, проведенное им в Никольском, казалось ему целою жизнью и отдельные эпизоды переживались полностью заново. Один раз он даже невольно и криво про себя усмехнулся, когда пришло ему в голову, что дал бы ему, в конце концов, тот самый горный институт, о котором он так горевал, и разве можно ставить его, хотя бы и отдаленно, в срав-

нение с тем, что он испытал и чему научился здесь..

Дыхание Танечки неподалеку, самое присутствие ее здесь, позволяли ему обозреть все, что было, как целое, как завершившийся круг.

Порою мысли его обрывались, и их заливала опять живая и острая жуть непосредственных чувств, и Вася то мрачно сдвигал свои брови, то забывался совсем, и тогда зрачки его сгущенно темнели и расширялись, как у слепого.

Острая тревога все время томила его за Танечку. Нежностью и благодарностью к ней за то, что не покорилась, полно было Васино сердце. Но.. неужели и за протест покарает судьба? И возвращался опять мыслию к Душке, и к этой последней своей поздке из церкви. . .

Страшно, но кажется так: через пленительное и ровное, если пронзить его острой иглою, хлынет кошмар; под цветущею пленкой земли, такой в сущности, хрупкой, гуляют еще, биясь и бушуя, океаны огня и глухо рокочут тяжелые волны металлов. О, мечты его: чей-то легкий бег через залу; цветы на столе, и в сумеречный час негромкий говор рояля. . .

Но ежели все на земле такое иное, и это и есть самая жизнь, в чем же сила и мудрость тогда, и как и на чем утвердить свою душу?

XII

Вася, наконец, уезжал из Никольского; теперь оставаться ему было слишком уже тяжело. «Он у нас будет жить. Совсем» — слова эти Танечкины не оправдались. Но ее другое «совсем» точно сбылось, она теперь дома и навсегда. Белая ограда у церкви замкнула ее в последнем объятии. Будут отныне итти, чередуясь, зимы и весны, ласковый снег прикроет своим одеялом последний земной приют ее, а хлопотливые пчелы слетят жужжать по весне над желтою вербой, но она никуда не уйдет, она теперь дома — совсем.

Похудел и побледнел Вася Лопатин и казался теперь еще выше; даже очки на носу лежали, по-нуро сползая вниз. Он бросил курить и выкинул вон портсигар; запах духов, в'евшихся в кожу, стал ему вовсе непереносим.

Гришка, женившись, ушел из экономии, и Васю должен был отвозить Никанор, тот самый, что его и привез.

Перед от'ездом с минуту сидели в молчании в

зале, потом помолились перед иконой и стали прощаться.

— И куда же ты? Жил бы себе. . . — сказал еще раз Кирилла Матвееч дрогнувшим голосом. — Право, живи покуда не гоним, а я велю лошадей отпрягать, — добавил он вслед затем, стараясь хотя бы под этой безрадостной шуткою скрыть свою слабость и охватившую его душевную боль; дядин вихор висел вовсе уныло, и на старика было больно глядеть.

Вася молча и крепко обнял и поцеловал Кирилла Матвееча. Но когда черед дошел до Любови Петровны, то и он, и она не удержали слез: оба, прощаясь, снова и снова прощались с милою девочкой Танечкой; она стояла меж них, и, склоняясь головой на широкую Васину грудь, не Любовь Петровна, полная хлопотунья старушка, рыдала при расставании с мальчиком, а хоронила счастье свое ласковая Люба—белая голуба, и плакал с ней Вася, оставляя на веки в этих стенах свою молодость.

Лошади стояли у крыльца, и Никанор в коляном тулупе, с поднятым в уровень шапки воротником, похлопывал себя по бокам рукавицами. Не было Чуркина.

Предчувствуя Танечкину скорую смерть, он не отходил последние дни от дверей и ничего не ел; после ее похорон он вовсе исчез. Или Танечка светлым ходатаем встала сама за него и замолила ему, наконец, все грехи, что совершил, еще гуляя по свету в человеческом образе?

Дорога опять шла через лес, строгий, седой и

холодный; безмолвный и крепкий мороз налег на него тяжелой пятою. Дальше на долгие версты гнулись поля и полнились однообразно за минутой минута скрипением полозьев. И это был океан, но мертво застывшие волны его неподвижны, и путь по ним долог.

Вася ехал и думал: не смерть страшна человеку, а жизнь; страшны на путях ее непонятные силы, чужные ему и холодные. О смерти никто правды не знает, но одно достоверно в ней — это величие; жизнь же . . . О, жизнью все еще правит на глубине, дабы не рассыпались, суровый Господь: не Христос и не Дух, а старый Бог наших отцов, ему же и диавол покорствуется, Он и покорность судьбе, и протест. Да, это все та же черная птица метнула пером в бедную Танечку, и темное, вязкое тело ее, раздробленное и многоликое, в ином своем облике держит в плену гордую Душку — душу — Психею..

Огромная равнина от края горизонта до края, все стлалась и стлалась перед Весиным задумчивым взором — унылая, но таинственная: ведь она же и мать всего, мать и самой этой души . . .

Как ни хотелось продлить расставание, но все же на станцию, по-деревенски, выехали с большим запасом времени, и Васе ждать пришлось около часа.

Он лениво раздумчиво бродил по платформе, когда вдруг на вихрастой, замореной кобыле прискакал мужик; видно, он гнал ее во всю мочь. Еще не доходя до дверей, ведущих на станцию, скинул он шапку и быстрый шаг его перешел в мнущийся и неуверенный; под конец он просто, робея, начал

топтаться на месте, а увидевши Васю, обратился к нему — узнать, где отыскать господина жандарма.

— А что такое? — спросил рассеянно Вася.

— Видите, барин, старосты нет, а так что случилось несчастье. Молодайка у нас, видишь ты, старика топором зарубила, свекора ейного то-ись. А мужик ее тоже... вроде как буйствует.

— Душка? — проговорил с запинкою Вася, чувствуя, что начинает дрожать.

— Она самая, точно так-с; Авдотья Миронова, — подтвердил мужик, словно обрадовавшись.

Вася его оставил стоять и отошел. Смутно он видел потом, как появился жандарм, смуглый и франтоватый, и как мужик поскакал дальше к уряднику.

Через те же поля, в сыпучем застывшем снеге, помчал Васю и поезд, он стоял у окна и над запущенной его нижней частью глядел на сугробы, сливавшиеся сплошной пеленой. Он видел и Душку; и она нашла свой исход, убила неправду. Она преступила закон, и вот повезут ее далеко в таком же вагоне, но только на окнах будут решетки. От них все равно никуда не уйти. Он видел открытые серые глаза ее и арестантский халат; и опять были эти глаза правдивы и смелы, как и тогда, под венцом: в новом этом плену, с собою наедине, она оставалась свободна. В царстве жестокого Бога и самую правду, раз к ней подошел, берут жестокой ценой. Да, поступь людей на земле должна быть тверда. Вася Лопатин чувствовал, как у него руки в карманах пальто невольно сжимались и как приливали к ним горячая и непокорная сила.